Николай Михайлов

Эпоха сестёр

Пиромант

18+

Эпоха сестёр

Николай Михайлов

Пиромант

«Автор»
2026

Михайлов Н. Н.

Пиромант / Н. Н. Михайлов — «Автор», 2026 — (Эпоха сестёр)

Начало удивительной истории сына рыбака, родившегося на краю цивилизации отдалённой планеты, где правят могущественные боги и демоны. В мире, где человеческая жизнь ничего не стоит Далин со своей возлюбленной выступают против системы, во имя мести за своих родных идут против одного из сильнейших существ во всей галактике. Мог ли кто-то предположить, что история, которая начинается как история любви двух молодых людей перевернёт устои вселенной?Полностью выдуманная вселенная с уникальной собственной историей. Любые совпадения с нашей реальностью случайны и не носят какого-либо умысла, кроме художественного. Это позволяет абстрагироваться от реальности и полностью погрузится в происходящее на страницах произведения.

© Михайлов Н. Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть 5
Пролог 6
Глава 12
Глава 18
Глава 3 Пыль кулис и блеск огней 25
Глава 4 Испытание на разрыв 34
Глава 5. К равновесию через падение 41
Интерлюдия. Спарка 49
Ч 52
Конец ознакомительного фрагмента. 53

Николай Михайлов
Пиромант

Часть

I

Пролог

Вы спрашиваете, откуда я? Это не просто точка на карте. Это… другая песня вселенной. Галактика, что на ваших звёздных картах зовётся «Дальний путь». Не спрашивайте, почему такое имя — не знаю. Для нас это была «Душа Демона», по-видимому, древние чтили этим Демона глубин Некромода, которому поклонялись.

Планета моя… звали её Валара. Или, точнее, мы так звали свой мир. «Место, где поют приливы». Сутки там — двадцать часов вашего времени. Не быстро и не медленно — просто иначе. Помню, как в детстве пытался сосчитать, сколько раз я усну и проснусь, пока наша главная луна, Кела, не сделает полный круг… Сбивался всегда.

Солнце… Оно было не жёлтым, а скорее золотисто-белым. Очень яркое, ослепительное. Но воздух — он был плотнее вашего, насыщен влагой от океанов, и потому свет рассеивался, обволакивая всё мягким, тёплым сиянием. Никаких резких теней в полдень — только бархатные очертания. И небо… оно было не голубым. Лазурным? С оттенком фиалки в зените. А на закате — вот это была феерия. Солнце, уходя в океан, зажигало горизонт пламенем от багряного до цвета расплавленной меди, и это пламя отражалось в мириадах летающей мелочи — «светляков небесных», мы их звали. Они парили в верхних слоях воздуха, и весь небосвод мерцал, как живой.

Я родился на архипелаге Морских Снов. Островов было множество, одни — не больше скалы, другие — целые миры. Но наш… наш был самым большим

Детство моё было выточено из чёрного базальта, солёного ветра и молчания.

Отцовский дом, самый крепкий на краю Ладони, не походил на другие. Стены из тёмного камня, что не брала сырость, и просмоленные балки из корней железодрева — такие, что даже штормовой накат не заставлял их скрипеть. У нас был засоленный ледник в подклети, где туши светящихся угрей сверкали, как самоцветы в темноте. И штормовки у нас были не из промасленной холстины, а из тончайшей китовой пузырины, не пропускавшей ни капли. Мы были зажиточны. Это слово я выучил раньше, чем «игра».

Мать, Иволия, могла позволить себе учителей. Раз в неделю к нам приходил старик Сорин, горбатый, как высохший краб. Он учил меня грамоте по Единственной Книге — «Своду Приливов и Договоров». Я выводил пером из рыбьего шипа сложные буквы, похожие на сплетённые сети, и слова, пахнущие морской солью и формалином: «улов», «долг», «глубина», «возвращение». Больше знаний в Приливном Камне не водилось. Зачем? Мир за гранью утёсов считался пустым, а то и греховным местом. «Там нет воды, Далин, — говорил отец, Киприан. — А значит, нет и жизни. Только пыль да заблуждение».

Но главные уроки были не за столом.

Отец стал брать меня с собой, едва я смог держать весло. Не для игры — для дела. Его лодка, «Договорница», была выдолблена из цельного ствола чёрного мальма, и смолистый запах её досок стал для меня запахом утра. Мы выходили затемно, когда звёзды тонули в серебристой мути горизонта. Он учил меня не рыбачить, а слушать. Слушать, как скрипят уключины на особой ноте перед сменой течения. Как цвет воды у скал меняется со свинцового на изумрудный, выдавая косяк. Как по дыханию ветра на щеке предсказать штиль на три часа вперёд.

Его руки — узловатые, в шрамах от лесок и крючков — были моими картами и инструментами. Он показывал, как вязать узел, который не распускается, но вмиг отдаётся, если дёрнуть за жилку-удавку. «Вот так и договор с Глубиной, сынок. Крепче стали, но знай, за какую нить потянуть, чтобы выжить». Он говорил мало. Каждое слово было редкой монетой, брошенной в сундук моего понимания.

А потом были мальчишки.

Я помню, как вышел на галечную отмель, где они строили замки из водорослей и камушков. Замерли. Смотрели, как на пришельца. Потом старший, сын котельщика, грузный и рыжий, брякнул: «Чего пришёл, каменный? Боишься запачкать свои барские портки?»

Я не боялся. Я просто не понимал правил их игры. Но когда тот рыжий, решив показать удаль, попытался отнять у младшего найденную раковину, что-то во мне щёлкнуло. Я просто взял его за запястье. Не для драки. Так беру якорный канат — чтобы зафиксировать. Он взвыл. Хруст был тихий, влажный, как разламывание крабьей клешни.

После этого их страх стал осязаемым. Они не дразнили меня в открытую. Они расступались, когда я шёл по единственной улице. Шептались за спиной: «Некромодово отродье. Сила нечеловеческая, из бездны». Я слышал. Их страх строил вокруг меня невидимую, но прочную клетку, куда крепче отцовского благополучия.

Игры их казались мне нелепыми, как трепыхание рыбы на суше. Их смех — резким и пустым. А моё одиночество было не горьким, а… глубоким. Как тихая заводь в скалах. Я заполнял его не друзьями, а вещами: выточил из китового уса идеальный крючок, выучил наизусть узор приливов на пять лет вперёд, мог по запаху воздуха определить, какая рыба сегодня пойдёт в сети.

Иногда, в редкие минуты, когда отец был доволен уловом, а мать напевала, закатывая икру в водоросли, я чувствовал странное тепло. Это и была, наверное, любовь. Тихая, как свет масляной лампы, уверенная, как каменная кладка нашего дома. Но даже в эти минуты я подходил к узкому окну, смотрел на линию горизонта, где небо пожирало море, и чувствовал, как внутри меня, прямо под рёбрами, зияет та же пустота. Тоска по дали, у которой ещё не было имени.

Я был сыном Камня. Я был крепок, как скала, и знал все тайны прилива. Но я был и пленником. И тюрьмой была не деревня, а тихое, незыблемое будущее, которое было прописано для меня, как маршрут по знакомым, безопасным водам. Будущее, в котором не было места ни для чужого смеха, ни для полёта, ни для той девушки с глазами цвета грозового неба, чьё имя я ещё не знал, но чей образ уже жил во мне, как смутное предчувствие бури.

Место, где я родился, звалось Приливным Камнем не просто так. Казалось, сам Некромод, скучая в бездне, вылепил этот берег из чёрного, пористого камня, шершавого, как язык морского дьявола. Скалы здесь не вздымались ввысь, а словно выползали из воды — низкие, пологие, но неодолимые, как судьба. Они были ребристыми, будто великан сложил здесь свои чёрные пальцы веером, а море столетиями лизало их до блеска. Это и была Ладонь. Наша вселенная и наш алтарь.

Деревня не росла, а прилипала к этой Ладони. Дома, сложенные из того же чёрного камня, казались её естественными наростами. Только благодаря работе прадедов они были чуть светлее — их скрепляли белесым цементом из молотых раковин и песка. На закате, когда солнце увязало в морской мути, стены отливали кроваво-медным, и Приливной Камень походил на старую, зажившую рану мира.

Крыши крыли «глубинницей» — мясистой, маслянистой водорослью, что в сухом виде становилась твёрдой и упругой, как кожа неведомого подводного зверя. Она не пропускала воду, но во время сезона Долгой Тени, когда штормы гуляли по пять месяцев без перерыва, издавала постоянный низкий вой, будто сама пыталась отозваться на рёв ветра.

За деревней, там, где камень сдавался, начинался Туманный Холм. Круглый год его обнимала серая, плотная пелена, из которой тянулись вниз, к огородам, длинные космы холодного тумана. Там росли корявые, стелющиеся деревья «шептуны», чьи ветви гнулись в одну сторону — от моря. Из них плели всё: от корзин до сильных, упругих лесок. А ещё дальше, за холмом, лежала Пустошь — жёлто-серая равнина, усыпанная острым, как бритва, кремнем. Туда не ходили. Там не было воды. Значит, не было и жизни. Там была только пыль и, как учили, заблуждение.

Но настоящая магия, жестокое сердце года, — это был сезон Гнева, или Долгая Тень.

Он приходил не сразу. Сначала море, обычно серебристо-свинцовое, становилось цвета тёмной стали. Воздух, всегда солёный и свежий, наливался тяжёлой, зловещей сладостью — пахло гниющими водорослями, выброшенными из самых глубин. Потом небо съедал сплошной сизый потолок туч, и начиналось.

Ветер не дул — он бил. Сплошной, бешеный удар, который длился неделями. Волны переставали быть волнами, это были движущиеся стены тёмно-зелёной воды, с гребнями из белой пены, похожей на ядовитую слюну. Они обрушивались на Ладонь с таким грохотом, что в груди дрожали кости. В такие дни Некромод был не просто демоном. Он был хозяином, требующим дани в виде полного подчинения.

И мы подчинялись. Лодки, «Договорница» отца в том числе, уводили в глубокие каменные ниши-пещеры выше по берегу и заваливали камнями. Выход в море был равносилен самоубийству и святотатству сразу. Пять месяцев мы были отрезаны от моря-кормильца.

Но тишина отчаяния не наступала. Наступало время рук.

Весь большой дом наполнялся запахом пеньки, льна и тихого сосредоточенного труда. Мать, Иволия, садилась у камина, где день и ночь тлели плавники сушёного угря, и её тонкие, быстрые пальцы начинали творить магию. Крючки, спицы, челноки — всё летало в её руках. Она плела сети. Не просто сети, а тончайшие, с ячеёй под определённую рыбу, с особыми узлами, которые не резали добыче тело, давая ей уйти невредимой, если того пожелает Некромод.

Отец, Киприан, в это время чинил всё: от бадей до морского снаря. Его движения были медленными, точными, ритуальными. Он не просто чинил — он заново заключал договор с каждой вещью. А я сидел рядом и учился. Мозоли на руках от вёсел сменялись мозолями от челноков и ножей.

И именно в этот сезон, когда мир сузился до размеров нашего очага, а ветер выл за стенами древнюю песню о тоске и ярости, в деревне просыпалась странная, сдавленная жизнь. Раз в неделю, когда шторм на пару дней затихал до «всего лишь» яростного рёва, в большом Доме Сходки у причала устраивали вечерину.

Это не были весёлые праздники. Это были рыбацкие помины. Поминки по ушедшим в море, которых не вернул даже Некромод. Поминки по прошедшему сезону улова. И тихая, тревожная надежда на следующий.

В низком, прокопчённом зале собирались все. Горели жировые лампы. На столах стояла еда, простая и сытная: солёное мясо, запечённые корнеплоды, тушёные водоросли и обязательно — густой, как смола, чёрный хлеб на закваске из морской травы. Пили не вино, а «глотку» — крепкий, обжигающий настой на кореньях, от которого немело нёбо.

Сначала говорили старейшины. Вспоминали. Потом кто-нибудь заводил песню. Невесёлую, тягучую, как само море, песню о потерянном косяке, о девушке, ждущей у окна, о холодных объятиях глубины. Пели все, низко, вполголоса, и звук этот сливался с воем ветра в единый стон.

Именно в такую ночь, в самый разгар вечерины, когда тоска висела в воздухе гуще дыма очага, и пришёл впервые в моей жизни Цирк.

Не по морю — с моря прийти в сезон Гнева было нельзя. Он пришёл с Пустоши. Из той самой земли пыли и заблуждения.

Сначала на окраине заметили огни. Не жёлтые, спокойные огни наших ламп, а цветные — алые, ядовито-зелёные, пронзительно-синие. Потом послышалась музыка. Не песня, а диковинная, резвая, нагло весёлая трель дудок и бренчание струн, которая резала слух после наших тягучих напевов.

Вечерина замерла. Люди высыпали на улицу, кутаясь в штормовки. Я вышел с ними, сердце вдруг заколотившись где-то в горле.

По грязи главной улицы, отражаясь в лужах безумными пятнами света, медленно вползал караван. Повозки были не из чёрного мальма, а из какого-то светлого дерева, расписанного диковинными зверями и звёздами. Их колёса были высокими, не для наших каменных троп. А над одной повозкой был натянут пёстрый купол, как гриб-поганка, выросший посреди нашего чёрно-белого мира.

Они остановились посреди деревни, этой ядовитой радугой посреди ночи. И на их лицах не было ни страха перед Гневом, ни почтения к Некромоду. На их лицах были улыбки. Широкие, бесстыжие, ослепительные.

И тогда я понял, что сезон Гнева бывает разный. Один — снаружи, в ярости волн. Другой — внутри, в тихом кипении тоски. И вот этот второй шторм, долго спавший в моей груди, внезапно встретился с диковинной, цветной бурей, пришедшей из ниоткуда. И в этой встрече родилось что-то новое. Не страх. Нет. Жажда.

Это было главное преступление моего детства. Грех, который я носил в себе, как зашитую в подкладку штормовки золотую монету — тяжёлую, чужую и запретную.

Открыто ждать Цирка было нельзя. Ждать чего-то с Пустоши — значило плевать в лицо Некромоду, отцу, всем предкам, чьи останки по древнему обычаю предавали морю. Жизнь была здесь, у воды. Всё остальное — заблуждение.

Но я ждал. Ждал из года в год, это была моя отдушина в серых буднях Долгой Тени.

Первые признаки приходили не с неба, а изнутри. За месяц до конца сезона лова, когда отец начинал суровее обычного щупать швы на «Договорнице», а мать закладывала в ледник последние, самые жирные туши угрей «про запас», во мне что-то начинало звенеть. Тихий, высокий звон, будто кто-то ударил по хрустальному колокольчику, зарытому глубоко в груди. Это был звон нетерпения.

Потом наступал первый день Долгой Тени. Небо смыкалось, ветер начинал свою вековую песню ярости, и мир сжимался до размеров камня, огня и пеньки. И тогда, выполнив все дела, я находил себе занятие у узкого, щелевидного окна в дальнем углу нашего дома. Оно выходило не на море — смотреть на взбешённого Некромода в сезон Гнева было дурной приметой. Оно смотрело на Туманный Холм и, дальше, на ту самую проклятую Пустошь.

Сидеть там подолгу было нельзя. Мать замечала: «Что ты там высматриваешь, Далин? Пыль?» Голос её был спокоен, но в нём звонила сталь подозрения.

Я научился врать молчанием. Просто отходил, делал вид, что проверяю крепление ставня. А через час возвращался, будто случайно.

И вот, прижавшись лбом к холодному камню, я начинал своё тайное бдение.

Я ждал не людей. Я ждал чуда.

Пустошь в сезон штормов была жутким зрелищем. Ветер поднимал над ней целые тучи жёлто-серой пыли, крутил их в бешеные вихри, которые танцевали свой дикий, бездушный танец. Иногда сквозь пелену дождя и пыли пробивался тусклый, выщербленный серпом свет луны. Он выхватывал из тьмы осколки кремня — и тогда вся равнина на мгновение вспыхивала, как усыпанная миллионами холодных, мёртвых звёзд. Это было красиво. Страшно и бездушно красиво. Как чешуя мёртвого дракона.

И я вглядывался в эту бурю, в этот хаос, до боли в глазах. Я представлял, как там, за последним, невидимым холмом, рождается свет. Не тусклый лунный, а тёплый. Алый, как сердце невиданной рыбы. Золотой, как пламя, которое никогда не гасили волны. Зелёный, как молодые побеги «шептуна» весной, но в тысячу раз ярче.

Я представлял звук. Не вой ветра и не монотонный стук челнока о раму. А музыку. Странную, ломаную, дерзкую. Она жила в моей голове смутным воспоминанием с прошлого приезда (я был тогда мал, но впечатление впилось в память, как крючок). Она была полна трелей, будто смеялись не люди, а стая диковинных металлических птиц.

Но больше всего я ждал движения. Нашей жизнью правили два ритма: тягучее спокойствие и яростный шторм. А я грезил о третьем — о полёте. О лёгкости. О том, чтобы оттолкнуться от земли и не упасть, а взмыть, закружиться, раствориться в этом безумном цветном свете. Я сжимал кулаки, чувствуя, как по жилам течёт не морская соль, а какой-то другой, горячий и беспокойный сок. Сила, что копилась во мне для тяги сетей и борьбы с волной, теперь требовала иного выхода. Она просила танца. Она просила высоты.

Иногда, в особо ясные (относительно) ночи, мне казалось, что я уже вижу их. Неясные огоньки на краю мира, мерцающие, как насмешливые глаза. Это был мираж, порождённый тоской. Но я верил. Я верил, что они идут. Что они прут сквозь эту пыль и безумие, не потому что сильные, а потому что другие. Их кости не лежали в каменных нишах, обращённых к морю. Они были вольны, как этот бешеный ветер, но несли не ярость, а смех.

И в этом ожидании был странный, горький восторг. Я был часовым у границы двух миров. Стражем, предающим свою крепость. Каждый вечер, отрывая взгляд от пустыни и возвращаясь к огню очага, к фигурам родителей, тихим и незыблемым, как сами скалы, я чувствовал себя чужим. Я уже был не совсем их сын. Я был сообщником тех, кто шёл. Сообщником ветра, цвета и безумия. И чем яростнее бушевал снаружи Некромод, тем громче звенел внутри меня тот хрустальный колокольчик нетерпения, обещая, что скоро — скоро! — из тьмы Пустоши родится та самая, иная буря, которая унесёт меня прочь.

А циркачи… они были не как люди. Они были как угли, выброшенные из великого костра, что пылал где-то там, за краем мира, на их материке. И дохнули они на меня не морской сыростью, а жаром — жаром дорог, костров и другой веры.

Первое, что я узнал от них — не про фокусы, не про номера, а про неё. Богиню. У них у всех, от мала до велика, на груди висели маленькие медные медальоны с вычеканенным пламенем, а внутри пламени — стилизованный женский лик. Когда их начальник, сухопарый и вечно поджарый Марцелло, увидел, как я разглядываю этот знак у одной из наездниц, он хлопнул меня по плечу (рука его была лёгкой и твёрдой, как плеть).

— Что, парень, Некромода своего на груди не носишь? — спросил он, и в его глазах, цвета старого вина, прыгали насмешливые огоньки.

Я промолчал, отрицать было глупо. Он усмехнулся.

— У нас свой патрон. Искра. Но не та, что гаснет, а та, что зажигает. Спарка.

И он начал рассказывать. А вокруг, готовя вечернее представление, собирались другие. Канатоходец Лео, у которого на щеке был шрам, похожий на язычок пламени. Старый клоун Беппо, пахнущий сандалом и дымом. Силач Бруно, чьи мускулы играли, как живые. Они не сидели чинно, как наши старейшины у огня. Они стояли, двигались, поправляли снаряжение, но слушали — и вставляли свои слова. И этот рассказ был не монологом, а общим делом, костром, у которого грелись все.

От них я впервые услышал имя — Спарка. И они произносили его не так, как мы шептали «Некромод» — с дрожью страха. Они говорили «Спарка» с вызовом, с гордостью, с лёгким выдохом, будто ощущая на лице её жар. Но в их глазах, если приглядеться, была не только любовь. Было напряжение. Как у матроса, который обожает море, но знает его нрав и никогда не поворачивается к нему спиной.

Она была живая. Это прозвучало для меня как удар грома в безветренный день. Не демон в холодной бездне, не абстрактная сила, а живая женщина. Она ходила по городам их материка. Не в видениях, а во плоти.

— Она носит зелёное, — говорил Марцелло, вытирая платком всегда идеально чистое лезвие ножа. — Но не цвет весны или листьев. Это зелёное — цвет окисленной меди, цвет глубокого моря перед бурей, цвет яда. Оно не для красоты. Оно для того, чтобы её видели. И запоминали.

— А глаза, — вставляла наездница Зара, её собственные глаза были тёмными, как маслины, — её глаза — не просто зелёные. Это цвет пламени, когда в него подбрасывают соль. Вспышка изумруда в белом жаре. Смотреть в них — все равно что смотреть на солнце через льдину. Ослепительно и холодно.

Она умела управлять огнём. Но в их рассказах это не было благодатью. Это была власть. Чистая, безжалостная. Они говорили, как по легенде, на празднике в её честь в столице она прошлась по раскалённому докрасна щиту — не быстро, а медленно, как по ковру из лепестков. Щит не остыл. Он трещал и шипел у неё под ногами, а она смотрела на толпу, и на её лице не было ни улыбки, ни усилия. Только сосредоточенность хищника. А потом щелчком пальцев она заставила пламя в чашах по краям площади вытянуться в тонкие, высокие столпы и застыть, как ледяные сосульки, только жаркие. И стояли так, пока она не ушла. И тогда они рухнули, осыпав народ пеплом и искрами.

— Она красива, — бросал силач Бруно, не глядя ни на кого, натирая руки тальком. — Но эта красота — как узор на клинке. Рассматривать можно. Трогать — порежешься.

И святилища. Да, они были в каждом городе. Но это были не «очаги», куда может подойти любой. Это были Колодцы Пламени. Глубокие каменные шахты в центре городов, где горел неугасимый огонь, добытый, как они верили, из самой её сущности. К нему нельзя было подойти близко. Только её жрецы в серебряных масках, отражающих жар, могли подбрасывать туда особое масло. Люди приходили, смотрели на яростное пламя из-за ограды, бросали в жертву украшения, монеты, записки с просьбами. И уходили. Если пламя в колодце вдруг полыхало выше обычного — это был знак её благоволения, но и предупреждение. Если оно тускнело и становилось синим — жди беды. Она была барометром их мира, но барометром капризным и безжалостным.

— Она не для болтовни у костра, парень, — отрезал как-то старый жонглёр Ренальдо, в его голосе звучала усталость, нажитая за долгие годы на арене. — Она даёт силу. Чистую, как огонь. Но огонь не выбирает, кого жечь. Она требовательна. Своих — тех, кто носит её знак, — она проверяет. Снова и снова. Упал на арене? Это не просто провал. Это знак, что ты остыл. Остываешь — она отворачивается. А без её взгляда за спиной… здесь, — он махнул рукой, очерчивая наш мир за стеной фургона, — здесь без этого взгляда долго не проживёшь.

И тогда, в детстве мне казалось, что их Спарка была полководцем. Их цирк был не просто труппой, а передовым отрядом её воли, несущим искру её огня в самые холодные, забытые уголки вроде нашего Приливного Камня. Их трюки, их бесстрашие, их дисциплина — всё это было формой служения. И служба эта была тяжёлой. Они смеялись, но их смех был звонким, как удар клинка о клинок — быстрым и без эха. Они были семьёй, но семьёй, сплочённой не только любовью, но и общей дисциплиной перед лицом своего божества.

Глядя на них, я чувствовал, как что-то сжимается внутри. Это не была тёплая, всепрощающая любовь, о которой я тайком мечтал. Это был зов на точильный камень. Это был призыв стать острее, жёстче, ярче.

Вся моя жизнь тогда была поделена на море — нудное, суровое, предопределённое — и на Цирк, что был самой свободой, самым счастьем и единственной новостью с большой земли. И именно с цирком связана моя встреча с той, кому я отдал свою молодость и кого не смог уберечь в час беды. Вся моя история началась с неё, а вся последующая жизнь на Валаре только ей посвящена.

Глава

1
. В погоню за мечтой

Дом — это место, где начинается наша история»,
Энни Дэниелсон

На самом деле всё началось не с неё. Оно началось с жара. Жара, который не имел ничего общего с тусклым теплом нашего очага. Этот жар исходил от их факелов, от наглой музыки, от алых занавесей, трепетавших на ветру, словно языки гигантского пламени. Я стоял в толпе соплеменников, а они стояли как вкопанные, окаменевшие от происходившего на арене. А я — горел.

Потом заиграли дудки — пронзительные, как крик неведомой птицы. И появилась она. Не вышла. Вспорхнула. Казалось, она не касалась земли. Её ноги, обутые в нечто мягкое и серебристое, лишь мимолётно целовали доски импровизированного помоста, а всё остальное было полётом. Платье — не платье, а сотня переливающихся лент цвета морской пены и заката — взвивалось вокруг, создавая ореол движения даже в миг кажущейся неподвижности.

И её лицо… Под маской из блёсток и тонких линий моё сердце узнало то, чего никогда не видела душа. Улыбку. Но не ту, скупую, что появлялась на лицах наших женщин после удачного улова. Её улыбка была оружием. Острым, ослепительным. Она резала взгляд и впускала свет прямо в мозг. А глаза… Карие? Зелёные? Нет. Они были цвета изменчивого пламени — то золотыми в отблеске факела, то тёмными, как бездна, когда она замирала на пике прыжка.

Я не дышал. Я стал статуей, в которой билась алая, бешеная пульсация. Всё вокруг — толпа, вой ветра, даже образ отца в памяти — расплылось, превратилось в туман. Осталась только она. Её изгиб в воздухе, когда она, оттолкнувшись от рук силача, описывала в небе дугу, невесомую и смертельно опасную. Звук её смеха, когда она приземлялась, — звонкий, дерзкий, как вызов всему нашему тихому, правильному миру.

Я пришёл на второе представление. И на третье. Я не мог не прийти. Это было сильнее голода, сильнее страха перед отцом. Я пробирался сквозь толпу, уже не замечая осуждающих взглядов, и занимал одно и то же место у самого края арены, где на меня падали брызги света и запах сандала и пота — сладкий, дурманящий запах жизни, а не выживания.

Я выучил её номер наизусть. Каждый пируэт, каждое движение руки, взмах головы. Я видел, как на четвёртый день у неё чуть дрогнула стопа при приземлении, и у меня сжалось всё внутри, будто я сам получил травму. Я заметил, как она улыбается только на арене, а в тени фургона лицо её становится сосредоточенным, даже суровым, и эта тень серьёзности делала её в тысячу раз прекраснее.

Мне было семнадцать. От цирковых, которые знали меня с детства, я с удивлением узнал, что её семнадцатый день рождения настанет вот-вот. При этом я был ещё мальчишкой, а она в моих глазах – звезда!

И вот, в ту ночь, когда цирк готовился к отъезду, ветер стих, и над Пустошью висела огромная, холодная луна, я нашёл в себе что-то. Не силу, которая гнула вёсла, а безумие. Я подкараулил её у ручья за холмом, куда они ходили за водой. Она несла два ведра на коромысле, двигаясь с той же грацией, что и на арене, но теперь земной, уязвимой.

— Алия, — выдохнул я. И голос мой прозвучал хрипло, чужим.

Она обернулась. Не испугалась. Её глаза оценивающе скользнули по мне, и в них мелькнуло любопытство, знакомое по арене.

— Рыбак, — произнесла она. И в этом слове не было презрения. Была констатация. Как о другом виде существ. Вся речь, что я готовил, сгорела в горле. Осталась только голая, раскалённая правда, вырвавшаяся наружу, как пар из треснувшего котла.

Я перехватил у неё коромысло с вёдрами – это дало мне время на передышку и мы не спеша пошли к лагерю.

— Я… я не могу больше без тебя смотреть на море. Оно стало серым. Ты как… как блуждающий огонь над болотом. Ты как та самая Спарка ваша. Ты спалила меня дотла. Я люблю тебя. Наступила тишина. Только лёгкий звон коромысл. Потом она… рассмеялась. Это был не тот звонкий смех с арены. Этот был тише, мягче, но оттого — ещё более сокрушительным. В нём была жалость. Не злая, а та жалость, с которой взрослый смотрит на ребёнка, уверенного, что может поймать луну в сачок для бабочек.

— О, милый мальчик с края света, — сказала она, и голос её струился, как тёплый мёд, обжигая. — Ты любишь тень на воде. Ты любишь блеск блёсток и запах пороха. Ты любишь иллюзию. Она приблизилась ко мне. Я почувствовал исходящий от неё жар и аромат — сандал, металл, что-то горькое и возбуждающее.

— Моё сердце не подарок для влюблённых щенков, — продолжила она, и глаза её стали твёрдыми, как те самые зелёные самоцветы, что, по слухам, были у Спарки. — Моё сердце — приз. Его не дарят. Его заслуживают. Под аплодисменты толпы. Под свист лезвий. Под взгляд самой Спарки, которая не терпит слабости. Ты думаешь, твоя сила, чтобы тащить сети, чего-то стоит? На арене сила должна быть изящной. Как удар хлыста. Как полёт.

Мы как раз подошли к её фургону. Я поставил вёдра на землю. Она взяла у меня из рук коромысло, повернулась, чтобы уйти, потом на мгновение обернулась ещё раз. На её губе играла та самая, острая, игривая улыбка.

— Если хочешь любить огонь, рыбак, будь готов сгореть.

И она ушла в фургон. Легко, как будто не оставила за собой дымящихся развалин моего мира.

Я стоял, как пригвождённый. Стыд, жгучий и едкий, поднимался к горлу. Я был для неё щенком. Мальчишкой. Существом с другого берега реальности. Её слова не убили мою любовь. Они закалили её. Превратили из томления в стальную решимость.

«Заслужить». Я повторил это слово про себя по дороге домой. Оно было твёрдым, как булыжник. Оно имело вес. И вкус. Я посмотрел на огни деревни, на тёмный силуэт нашего дома, где спали Киприан и Иволия, уверенные, что их сын спит рядом. Я посмотрел на фургоны цирка, где в одном из окошек мерцал свет — возможно, её свет. И решение пришло не как мысль, а как приговор, который я вынес сам себе. Я уйду из дома. Я приду к ним. Я стану сильнее, изящнее, лучше. Я научусь не тянуть, а взлетать. Я заставлю её смех стать не жалостью, а ликованием. Я заслужу. Или сгорю, пытаясь. В тот миг я перестал быть Далином, сыном Киприана. Я стал претендентом. И первой жертвой на алтарь этой новой жизни должен был стать мой старый мир.

Подойти к их лагерю в этот раз было страшнее, чем в детстве заглянуть в глаза первому шторму. Там, на Ладони, всё было предсказуемо: ярость, борьба, а потом — либо жизнь, либо возвращение Некромоду. Здесь же правила были мне неведомы.

Фургоны стояли полукругом, как степные кони, пригнувшие головы к скудной траве. От них пахло кожей, конским потом, жареным луком и чем-то сладковато-приторным — мазью для мышц или для лошадей, не знаю. У самого большого фургона, с нарисованной на боку пышущей жаром птицей, сидел на складном стуле Марцелло. Он чистил яблоко длинным, тонким ножом, и лезвие ловило последние лучи солнца, уползавшего за Туманный Холм.

Я подошёл. Ноги были ватными, а в груди колотилось, будто я тащил невод против течения.

— Хозяин, — выдохнул я. Голос не подвёл, прозвучал низко и глухо, по-нашему.

Марцелло поднял глаза. Взгляд его был как у старого ястреба: внимательный, уставший и лишённый всякого любопытства.

— Рыбак, — констатировал он, откусывая кусок яблока. — Даром не кормим. Представления кончились. Уходи.

— Я не за подаянием. Я — работать. Он фыркнул, не отрываясь от еды.

— Работать? Чистить лошадей? Для этого у нас есть мальчишка. Он хоть знает, с какого бока к лошади подходить. Вокруг уже начали собираться другие. Жонглёр Ренальдо, скрестив руки, наблюдал с циничной усмешкой. Канатоходка Зара смотрела с лёгким, почти научным интересом, как смотрят на диковинного зверя. Я чувствовал их взгляды на своей коже — колючие, чужие.

— Я сильный, — сказал я, и это прозвучало глупо, по-детски. Как хвастовство мальчишек на отмели.

Марцелло вздохнул, собираясь закончить разговор. Но тут из-за фургона вышел Бруно, главный силач. Его правая рука от локтя до кисти была туго перебинтована грубым холстом, а лицо, обычно надменное и спокойное, искажала гримаса боли и досады. Он что-то говорил Марцелло на своём, быстром, певучем языке, полном шипящих. Я уловил только отчаяние в его тоне. Марцелло слушал, лицо его стало мрачным. Потом он медленно перевёл взгляд на меня.

— Сильный, говоришь? — переспросил он уже без насмешки. — Докажи. Он кивком указал на огромное колесо от самого большого фургона, которое лежало прислонённым к дереву. Оно было не просто большим. Оно было чудовищным — из цельного дуба, с толстыми железными ободьями. Его сняли для починки оси. Поднять его, чтобы подсунуть подпорку, было задачей для двух человек или для одного Бруно в его лучшие дни.

Во мне что-то щёлкнуло. Это был вызов. Не словесный, а физический, понятный мне до костей. Здесь не нужно было красноречие, не нужно знание их обычаев. Нужно было только одно — сила. Та самая, что копилась годами от тяги сетей, от борьбы с вёслами в штормящем море, от таскания по гальке полных улова лодок. Я подошёл к колесу. Оно пахло смолой, старым деревом и железом. Я присел, упёр ладони в нижнюю дугу обода. Кожа на ладонях, загрубевшая до состояния наждака, зацепилась за шероховатое дерево. Я сделал вдох, как делал перед тем, как вытащить сеть, полную сопротивляющейся, живой тяжести. И потянул.

Мускулы на спине и плечах взметнулись, как канаты на натягивающейся парусине. В висках застучало. Я почувствовал, как соки земли, которые держали колесо, нехотя отпускают его. Раздался скрип, жалобный и тягучий. И затем колесо, медленно, неотвратимо, оторвалось от земли.

Я не просто поднял его. Я вырвал его из объятий грунта и, сделав шаг, а потом ещё один, отнёс в сторону, поставив вертикально к фургону. Земля под ним осела, оставив чёткий, влажный след. Я отпустил его и выпрямился. Дышал ровно, лишь на лбу выступила испарина. Руки не дрожали. Это был не предел. Наступила тишина. Птичье щебетание Ренальдо стихло. Усмешка Зары замерла на губах. Даже Бруно перестал хмуриться и смотрел на меня с новым, оценивающим выражением — в нём читалось профессиональное уважение и горькая досада.

Марцелло медленно доел яблоко, вытер нож о край штанины.

— Дикарь. Но крепкий, — произнёс он наконец. — У Бруно сломана лучевая кость. Цирк не может ждать, пока он срастётся. Наш номер — «Подвиги Геркулеса». Поднятие гирь, разрывание цепей, поддержка трапеции с людьми. Грубая сила. Но на арене. Перед людьми. Не боишься?

— Нет, — соврал я. Боялся. Боялся страшно. Но страх этот был сладким и острым, как лезвие его ножа.

— Ладно, — Марцелло вздохнул, будто заключая невыгодную, но необходимую сделку. — Условия такие: живёшь с нами. Ешь, что дают. Работа — всё, что скажут: и на арене, и у фургонов. А за каждое выступление… — он помедлил, глядя на мою простую одежду, — один медяк. И учись. Бруно будет показывать, что можешь делать одной левой, пока правая заживает. Согласен?

Один медяк. За выступление, на которое люди, возможно, будут смотреть, затаив дыхание. За возможность быть там, где будет она. Это была не плата. Это была формальность. Символ того, что я теперь не просто беглец, а наёмник. Человек дела. Я кивнул. Слова застряли где-то в горле, но кивок был твёрдым.

— Завтра на рассвете цирк уезжает. Ты либо едешь с нами, либо остаёшься.

Я стоял, чувствуя, как ко мне подходит Бруно. Он тяжело положил здоровую левую руку мне на плечо.

— Тяжёлое колесо, мальчик, — хрипло сказал он на ломаном наречии. — Но на арене… там тяжелее. Там тяжесть взглядов. Завтра начнём. Будешь гореть.

Я смотрел, как Зара, улыбнувшись уже по-другому, чуть кивнула мне и ушла. Я видел, как в окне самого дальнего, расписанного звёздами знакомого мне фургона, возле которого всё ещё стояли принесённые мною вёдра, мелькнуло знакомое лицо. Алия. Она смотрела на эту сцену. И в её взгляде не было уже смеха. Была задумчивость. Взгляд мастера, оценивающего новый, неотёсанный, но потенциально полезный инструмент.

В тот вечер, отдавая свой штормовак и простую рубаху в обмен на поношенную, но прочную безрукавку циркача, я чувствовал не потерю, а преображение. Медяк, который Марцелло бросил мне как аванс (холодный, шершавый кружок), я сжал в кулаке так сильно, что на нём отпечатался узор. Это была не плата. Это был билет. Билет в её мир. В мир, где сердце нужно заслужить. И я был готов платить за него не медяками, а потом, кровью и этой дикой, необузданной силой, что клокотала во мне, ища теперь не рыбу в сетях, а аплодисменты в ночи и зелёный огонь в её глазах.

Та ночь была длиннее века. Я лежал на своей узкой постели у стены, слушая, как за окном воет уже знакомый, почти родной ветер Долгой Тени, и чувствовал, как тикают в груди часы, выточенные изо льда. Каждый удар сердца был отсчётом. Отсчётом к предательству.

У отца, дыхание было ровным и тяжёлым за тонкой перегородкой — звук спящего утеса. Мать иногда вздыхала во сне, и этот звук был тоньше печального крика чайки. Они спали, не зная, что их сын, их плоть, их продолжатель рода и хранитель «Договорницы», уже мёртв. Что в этой комнате лежит лишь оболочка, налитая дрожью и решимостью.

Когда луна, бледная и скупая, укрылась за очередной грядой туч, я начал двигаться. Каждое движение было выверено, как узел на отцовской сети: бесшумно, крепко, навсегда. Я не зажигал свет. Темнота была моим сообщником.

Сперва — узел. Из-под соломенного тюфяка я вытащил холщовый мешочек, вышитый рукой матери ещё в те дни, когда я был мал и болел лихорадкой. На нём были стебли «шептуна» — для крепости духа. Теперь в него я клал своё отречение.

Сбережения. Не монеты, а символы. Три плоских, отполированных морем камня с дырочками — «глаза Некромода», самая ценная местная валюта для обмена с редкими купцами. Горсть раковин особого, перламутрового свечения. И один-единственный, но ценный для меня медяк, который отец дал мне в день, когда я впервые вытянул сеть один — «на удачу».

Удача теперь была мне нужна иного сорта. Они лягут на дно мешка с глухим, обвиняющим стуком.

Одежда. Я взял лишь одну смену — самую простую, без вышивки. Чистую портянку. И ещё одну вещь: толстый, вязаный из тюленьего пуха наплечник, который мать связала мне на прошлый сезон Гнева. Он пах домом — дымом очага, сушёной рыбой и её лавандой, что она клала в сундуки от моли. Этот запах ударил мне в ноздри, и на миг всё внутри дрогнуло, ослабело. Я чуть не разрыдался. Но сжал зубы так, что челюсти заныли. Нет. Нельзя. Один вздох, один шорох — и всё рухнет.

Я оделся. Не в праздничную рубаху, а в самую потёртую, рабочую, ту самую, в которой чинил сети. Пусть видят меня таким, каков я есть — грубым и простым. Надел штормовку, но не отцовскую, крепкую, а свою, уже тесноватую в плечах. Потом наступил самый тяжёлый миг. Я подошёл к их занавеси. Стоял и смотрел на смутные очертания двух фигур под одеялом. Отец. Мать. Всё, что у меня было. Всё, что я знал о любви, долге и безопасности. Я хотел крикнуть. Хотел упасть на колени и признаться. Но слова, которые пришли на ум, были: «Простите. Я выбираю иной свет». А они бы не поняли. Для них свет был только один — бледное солнце над свинцовым морем. Вместо слов я сделал то, чего не делал с детства: тихо, как вор, опустился на колени и коснулся лбом холодного каменного пола у порога их спальни. Это был не поклон. Это было прощание. Безмолвное, как их бог, и такое же беспощадное.

Потом встал. Взял мешок. Открыл тяжёлую дверь — она издала тихий, задушенный скрип, будто предупреждая. И шагнул в ночь. Ветер тут же обнял меня ледяными клещами, рванул за полы. Он выл уже не просто так. Он выл обвинением. Каждый порыв казался шепотом предков с утёса: «Предатель. Беглец. Пища для пустоты». Я шёл, опустив голову, но не от стыда, а против стихии. Камни под ногами, знакомые до боли в подошвах, теперь казались чужими, враждебными.

Лагерь цирка был тих. Огни погашены, лишь у одного фургона тускло мигала закрытая фонарём лампа — дежурный огонь. У большого, главного фургона меня ждал Марцелло. Он курил тонкую, ароматную трубку, и дымок тут же срывало ветром.

— Всё? — коротко спросил он, глядя на мой жалкий узелок. Я кивнул.

— На рассвете трогаемся. Садись в тот фургон, с зелёными колёсами. Спи. Если сможешь.

Я забрался в указанную повозку. Внутри пахло сеном, кожей и людьми. В темноте слышалось чьё-то ровное дыхание. Я пристроился у самого входа, на голых досках, прижав к себе узелок. Спать не мог. Я смотрел в щель между полотнищами брезента на чёрный силуэт нашей деревни, на тёмный прямоугольник нашего дома. И тогда, на самом краю рассвета, когда небо стало не чёрным, а густо-лиловым, я увидел её. Не Алию. Мать. Она вышла из дома. Не в штормовке, а в одной ночной рубахе, и ветер тут же обвил её, прижимая ткань к телу. Она стояла, вглядываясь в сторону лагеря, будто что-то почувствовала сквозь сон. Её лицо было бледным пятном в предрассветных сумерках. Она подняла руку, будто чтобы помахать, или чтобы закрыть глаза, или чтобы удержать что-то ускользающее. Я вжался в темноту фургона, сердце колотилось так, что, казалось, его услышат на другом конце деревни. Она простояла так недолго. Потом медленно, будто вдруг состарившись, повернулась и скрылась за дверью. Этот образ — хрупкая фигура в белом на фоне чёрного камня, одинокая и ничего не понимающая — вжёгся в меня навсегда. Глубже любого шрама.

А потом тронулись. С глухим стуком, со скрипом колёс, караван начал ползти. Не в сторону моря. В сторону Пустоши. В сторону той пыли и заблуждения, о котором так часто говорил отец. Я не оглядывался. Я смотрел только вперёд, на полосу грязной дороги, вырисовывающейся в сером свете утра. Узелок с камнями и материнским наплечником давил на колени. А в груди лежал холодный, неотчеканенный комок — не из меди или камня, а из тишины, которую я оставил за спиной. Тишины, которая теперь навсегда будет зваться Родиной. И я

увозил её с собой — не как память, а как незаживающую рану, как плату за тот иной свет, на который я так отчаянно и так подло променял свой первый, единственный и теперь навсегда утерянный, дом.

Глава

2

. Закалка

«Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься.»
Брюс Ли

Путь — это пытка. Не та, что обрушивается разом, ударом волны. Это пытка мелкой наждачной бумагой, что трёт тебя изо дня в день, пока не сотрёт кожу до живого мяса, а потом и до кости.

Колёса фургонов выбивают ритм: «у-шёл, у-шёл, у-шёл». Каждый удар по кочкам отдаётся в висках, напоминая, как далеко я уже от тишины отчего дома. Мы идём по Пустоши. Отец был прав — это ад. Пыль. Она везде. В еде, в лёгких, въедается в поры, смешивается с потом, превращая тело в грязную статую. Она забивает глаза, и мир видится сквозь рыжую, колючую пелену.

Тренировки начинаются на привалах, когда люди и лошади едва дышат от усталости.

Бруно с его сломанной рукой — мой мучитель и единственный проводник. Его здоровой левой лапой он хватает мою руку и тычет ею в гирю.

— Не так, деревенщина! Ты рыбу таскал — тянул к себе. Здесь — от себя. От сердца в мир! Сила должна изливаться! Как вино из кувшина!

Гири. Они не похожи на сети. Сеть — живая, она дышит в руках, поддаётся. Гиря — мёртвый кусок металла, тупой и бездушный. Её нужно не просто поднять. Её нужно поднять красиво. С вывертом, с паузой, с улыбкой, когда все мускулы горят огнём. Я поднимаю, а Бруно бьёт меня по животу палкой.

— Напряги пресс! Тебя будут видеть! Ты должен быть как скала, даже когда внутри всё рвётся!

Потом цепи. Настоящие, тяжёлые, с толстыми звеньями. Задача — разорвать их на груди. Я упираюсь ногами, свожу лопатки, рву. Сначала ничего. Только стон железа и хруст в собственных суставах. Потом, когда уже кажется, что грудная клетка треснет, звено сдаётся с резким, звонким щелчком. Это не победа. Это лишь допуск к следующему, более толстому звену. Ладони стираются в кровь. Бруно заставляет макать их в соль, смешанную со скипидаром. «Чтобы грубели, мальчик. Чтобы не чувствовали боли. На арене чувствовать боль — смерть».

Были часы, когда цирк затихал. После утреннего переезда, возни с повозками, до вечерних репетиций под присмотром Марцелло, наступала короткая полуденная пауза. Пустошь пылала в зените золотисто-белого солнца, воздух колыхался маревым зноем, и всё живое искало тень. Старики Беппо и Ренальдо дремали в своих фургончиках, Бруно методично чинил сбрую, а Марцелло вёл тихие, жёсткие расчёты в своей конторской книге.

И в эту сонную тишину, под раскалённым куполом неба, врывалась она.

Алия не отдыхала. Она тренировалась.

Она находила ровную площадку на краю лагеря, где земля была утоптана до состояния глиняной плиты, и начинала свой тихий, безжалостный диалог с собственным телом. Я находил предлог — поправить растяжку, посидеть в тени разлапистого сухого куста — и украдкой наблюдал. Это была не репетиция в привычном смысле. Не было музыки, не было зрителей,

не было даже задачи отработать конкретный номер. Это была… медитация в движении. Подготовка инструмента.

Я видел, как она начинала с простого — плавные волны позвоночника, будто её костяк был не из костей, а из гибкого тростника. Каждое движение было выверено, бесконечно медленно и осознанно. Она чувствовала каждую мышцу, каждый сустав. Потом шла растяжка — не та, что делаю я, с потягиваниями и стоном, а нечто иное. Она замирала в сложнейших позах, дыша ровно и глубоко, лицо абсолютно спокойное, будто погружённое в себя. Её тело изгибалось в дуги и мосты, невозможные для обычного человека, и в этой неподвижности была титаническая сила. В ней не было напряжения — только совершенная, хрупкая гармония.

А потом начиналось главное. Она отрабатывала элементы. Проходка на воображаемом канате, но не просто шаги. Каждый подъём ноги, каждое микродвижение стопы, баланс корпуса — всё это дробилось на атомы и повторялось. Десять, двадцать, пятьдесят раз. Идеально. Её икры, обнажённые выше колен из-за коротких тренировочных штанов, играли под кожей, но лицо оставалось сосредоточенным и пустым. Она была где-то далеко, в центре своего внутреннего урагана спокойствия.

Но случалось и другое. Случалась ошибка. Скажем, сложный переход из стойки на руках в медленный перекат. Что-то шло не так — рывок, потеря равновесия, не та траектория. Она мягко приземлялась на ноги, и на её лице не было ни досады, ни злости. Только холодный, аналитический свет в глазах. Она замирала, воспроизводя в уме момент сбоя. Потом, не тратя ни секунды на самобичевание, начинала сначала.

И снова. И снова.

Она могла повторять один неудавшийся элемент двадцать раз подряд, под палящим солнцем, пока рубашка не прилипала к спине, а волосы не слипались от пота. Никаких эмоций. Только упорство, выточенное из чистой воли. И когда на двадцать первый раз движение выходило безупречным, плавным, как струйка масла, она не улыбалась. Она лишь кивала про себя, как учёный, подтвердивший гипотезу, и переходила к следующему.

Наблюдать за этим было мучительно и прекрасно. Мучительно — потому что я видел бездну, отделяющую мои потные, грубые усилия от этой алмазной дисциплины. Прекрасно — потому что в этом был ключ. Не в таланте, а в вот этом — «снова и снова». В молчаливом диалоге с неудачей, который заканчивался не её изгнанием, а превращением в союзника. Каждая ошибка была не врагом, а учителем, указывающим, где спрятано слабое звено.

И это… это настраивало меня.

Когда после этих тайных наблюдений я шёл к Бруно и своим гирям, мир вокруг меня менялся. Шум в голове — сомнения, тоска по дому, горечь от её холодности — стихал. Вместо него возникала ясная, холодная цель. Я уже не просто «занимался». Я вступал в тот же самый диалог. Моё тело было моим канатом, моим сложным элементом.

Я подходил к тяжеленной чугунной гире, которую на прошлой неделе едва мог оторвать от земли. Смотрел на неё не как на врага, а как на задачу. Делал глубокий вдох, как она. Концентрировался не на боли, а на мышцах, на траектории. Поднимал. И если на середине подъёма мышцы дрожали и снаряд норовил вырваться, я не бросал его с руганью. Я медленно, контролируя каждый сантиметр, опускал. Отдыхал. Анализировал: почему не получилось? Слишком рывок? Спина не прямая? Потом — снова. И снова.

Под звук её лёгких шагов по пыльной земле и мерное дыхание, я заставлял своё тело учиться. Каждое повторение было не просто усилием. Оно было кирпичиком в стене, которую я возводил между собой и тем мальчишкой-рыбаком. Между неуклюжестью и силой. Между невидимостью и тем, чтобы её заметили.

Она не смотрела на меня в эти часы. Она была целиком поглощена своей вселенной. Но её одержимость, её безмолвная, жестокая к себе любовь к совершенству — она витала в воздухе,

как наэлектризованная пыль перед грозой. И я дышал ею. Она была моим самым строгим и самым незримым тренером. Потому что, глядя на то, как она падает и поднимается, я понимал: мастерство — это не дар. Это шрам от тысяч падений, невидимый миру, но знакомый только телу и душе. И я готов был покрыться такими шрамами с ног до головы, лишь бы однажды не просто привлечь её взгляд, а заслужить её уважение.

Но всю поездку для меня Алия была лишь призраком на краю этого ада. Иногда я наблюдал за ней на привале. Она сидит на ступеньках своего вагончика, чистит яблоко тем же длинным, точным движением, что и Марцелло. Её глаза скользят по мне, по моей вспотевшей, запылённой спине, по окровавленным бинтам на руках. И не задерживаются. Совсем. Как будто я — часть пейзажа. Странное, неуклюжее дерево на этой Пустоши. Ни отвращения, ни интереса. Пустота. Это в тысячу раз больнее, чем удар палкой Бруно.

Один раз, когда я, задыхаясь, упал на колени после десятой попытки удержать на плечах платформу с двумя «карликами» (они смеялись, как черти, пока я трясся под их весом), я увидел её взгляд. Она смотрела не на меня. Она смотрела сквозь меня, куда-то вдаль, на линию горизонта. И в её зелёных глазах было то же самое, что и у меня в детстве у окна — тоска по дали. Только её даль была ещё недоступнее. Она была уже там, в этой дали, и смотрела на следующую. А я для неё был просто пылью под колёсами её стремления.

По вечерам, когда разводят общий костёр, она садится рядом с Марцелло или со старым жонглёром Ренальдо, говорит с ними тихо, смеётся тем своим, колокольным смехом. Звук этого смеха долетает до меня, где я сижу в стороне, растирая мазью растянутые связки. Он обжигает, как искра из костра. Я так хочу, чтобы этот смех был про меня. Чтобы она посмотрела. Указала. Сказала что-нибудь. Даже упрекнула. Но нет. Я — невидимка.

Иногда мне кажется, что я ошибся. Что я не смогу. Что я навсегда останусь этим грубым рыбарем, который только и может, что таскать тяжести, но никогда не будет изящным, никогда не заслужит даже её взгляда. В эти моменты я закрываю глаза и вижу не её, а лицо матери в предрассветных сумерках. И чувствую такую жгучую, ядовитую жалость к себе, что готов кричать.

Но я не кричу. Я засовываю кулак в рот и кусаю его, пока не почувствую вкус крови и соли — вкус реальности. Потом встаю. Подхожу к гирям снова. Рву цепи с тихим рыком, в котором тонут все мысли.

Сначала цирк был просто фоном, декорациями, на фоне которых разворачивалась единственная важная драма — драма моего немого обожания. Цветные тряпки шатра, запах манежа — конский навоз, опилки, старая пудра — грохот реквизита, крики репетиций. Всё это было лишь шумом, помехой, сквозь которую я пытался пробиться к ней.

Но постепенно шум стал обретать форму. Он впитался в меня, как дорожная пыль в кожу.

Я начал слышать не просто гам, а отдельные голоса. Ворчание Беппо, когда он чинил свои бесчисленные коробки с реквизитом — это был не просто звук, а ритм. Звонкий, отрывистый смех Зары, когда у неё получался сложный трюк на лошади — это была музыка победы. Даже вечный, нервный скрип грифеля Марцелло в его конторской книге стал частью симфонии — сухой, деловой бас, на котором держалась вся эта хрупкая, безумная вселенная.

Я начал видеть не просто движение, а смысл в нём. Как Лео, лаская шрам на щеке, часами ходил по простой верёвке, натянутой между двумя повозками, не для зрелища, а для поддержания внутреннего компаса. Как старый Ренальдо в полной тишине, одними пальцами, жонглировал тремя яблоками, и в этом был целый мир концентрации. Это была не работа. Это была жизнь, вывернутая наизнанку, где ежедневный труд был молитвой, а искусство — воздухом.

И в эту ткань я начал вплетать и свою нить. Моё стремление к Алии никуда не делось, оно горело во мне тлеющим углём. Но рядом с ним, из пепла усталости и мозолей, начало разгораться другое, новое пламя. Его раздул случай.

Мы были в одной из самых убогих деревень, на краю света. Дождь моросил, превращая арену в жирную глину. Публики — горстка оборванных детей да пара стариков с пустыми глазами. Я стоял за кулисами, готовясь вынести гири для Бруно, и смотрел на этот жалкий, пропитанный безысходностью круг. И увидел, как вышел Лео.

Он вышел не как всегда — с бравадой и улыбкой. Он вышел тихо. И начал свой номер. И случилось чудо. Под его ногами скользкий канат стал не орудием пытки, а путём в небо. Его тело, обливаясь дождём, рисовало в пространстве такие линии отваги и грации, что дети перестали ёрзать. Их рты открылись. В глазах стариков промелькнул огонёк — не радости, нет, а какого-то забытого изумления, памяти о том, что мир может быть иным. И когда Лео сошёл с каната, под жидкие хлопки, он не сгорбился. Он выпрямился, и в его позе было нечто большее, чем удовлетворение от выполненной работы. Было достоинство. Он подарил им кусочек чуда в этот промозглый день. И это был акт не показухи, а… милосердия. Мощи.

В ту ночь у меня впервые родилась мысль, от которой заколотилось сердце: я хочу так же.

Не просто быть рядом с ними. Не просто быть сильным для неё. Я захотел выйти на этот круг, под этот потрёпанный холст, и что-то сделать. Не для аплодисментов, нет. Пусть их будет мало и они будут скупыми. А для этого мгновения тишины перед трюком, когда зал замирает. Для вспышки в глазах ребёнка, который впервые видит, что человек может поднять нечеловеческую тяжесть. Для того, чтобы на миг разорвать серую ткань обыденности, как разрывал её Лео. Я захотел не просто заслужить место в труппе, а разделить с ними эту странную, святую ответственность — быть творцами изумления.

И с этой мыслью мои тренировки преобразились.

Раньше я репетировал перед призраком Алии. Теперь я репетировал перед призраком толпы. Бруно, заметив перемену, не сказал ни слова. Он просто стал строже. Он принёс старые, потёртые, но всё ещё ослепительно яркие жилеты и нарукавники. «Сила должна быть красивой, мальчик, — хрипел он. — Зритель должен видеть не работу, а волшебство. Улыбнись, даже если гиря давит на душу».

Я отрабатывал не просто подъём. Я отрабатывал подачу. Шаг. Взгляд, брошенный на воображаемые трибуны. Паузу перед рывком. Как выставить гирю, чтобы лучи солнца (или наши жалкие масляные фонари) горели на отполированном чугуне. Я учился чувствовать не только вес, но и ритм. Бруно начинал бить в барабан — глухой, настойчивый стук — и мне нужно было вписать свои движения в эту дробь. Поднять на четвёртый удар. Задержать на пике на восемь счётов. Опустить плавно, без глухого стука, как бы нехотя расставаясь с тяжестью.

По вечерам, когда лагерь затихал, я уходил чуть в сторону, туда, где свет костра не доставал. И повторял. Весь номер. От поклона до поклона. Без гирь, с воображаемым весом. Я представлял себе лица: невесёлые, усталые лица рыбаков, видевшие только суровость моря. И я хотел, чтобы на этих лицах появилась трещина. Удивление. Восторг. Я хотел сорвать не овации, а этот короткий, затаённый вздох «ах», который дороже любых аплодисментов.

Алия оставалась моей тайной музой, болью и целью. Но теперь в моей груди бились два сердца. Одно — любовное, неровное, полное тоски. Другое — артистическое, только что родившееся, но уже настойчивое и жадное. И оба они вели меня к одному — к тому первому выходу. К моменту, когда я перестану быть Далином-беглецом, Далином-влюблённым, и стану просто Далином — силачом труппы Марцелло. Человеком, который может не только нести тяжесть, но и дарить лёгкость.

Циркачи говорили, я учусь быстро. Бруно уже хмыкал одобрительно. Настал день, и Марцелло бросил: «Сойдёт для дебюта в захолустье». Но эти слова даже для преображённого меня мало значат. Единственная оценка, которая имеет цену, молчит и смотрит куда-то мимо, в свою собственную, недосягаемую высь. И я остаюсь здесь, в пыли, с окровавленными руками и комом тоски в горле, тренируясь не для аплодисментов, не для медяка, а для того, чтобы

однажды, преодолев эту невидимую, ледяную стену, наконец поймать её взгляд. И чтобы в нём было не равнодушие, а признание. Пусть даже в нём будет вызов. Лишь бы не эта пустота.

Говорят, ночь темнее перед рассветом. Особенно горько было мне накануне первого выступления. Все представления, что мы давали по дороге в деревушках, были не для меня. Или я не для них — не знаю. Но мой мучитель Бруно заявлял, что я не готов. И вот мы встали лагерем на краю пустоши, у самого обрыва, откуда открывался вид на безбрежное море терракотовых скал и выжженное небо. Уже виднелся вдали первый более-менее крупный населённый пункт, и в нём мне предстояло впервые предстать перед публикой. И именно в этот день, как оказалось, Алии исполнилось семнадцать.

Цирк готовился к завтрашнему выступлению, но вечером все дела были забыты. Беппо, пахнущий сандалом, каким-то чудом вытащил из своих тюков пару настоящих восковых свечей. Их жёлтое, дрожащее пламя казалось здесь, под открытым небом Валары, чудом более редким, чем любая магия.

Алия вышла из повозки, и у меня перехватило дыхание. На ней было лучшее платье — не пёстрое цирковое тряпьё для выступлений, а простое платье из тёмно-синей, почти ночной ткани, расшитое по подолу мелкими бисерными звёздами, которые она, должно быть, собирала и нашивала сама. Оно было скромным, но в нём она была не танцовщицей, не канатоходкой, а просто девушкой. Её волосы, обычно собранные в практичный узел, были распущены и падали тёмной волной на плечи. Медный медальон на груди отбрасывал тёплые блики.

Марцелло, сухопарый и вечно поджарый, уселся на обрубок и достал свой старый, видавший виды струнный инструмент, похожий на лютню, но с более печальным, резким голосом. Под его пальцами зазвучала не цирковая полька, а что-то древнее, бродячее, мелодия, в которой слышался скрип колёс и шёпот далёких дорог. Лео, Беппо, Зара пустились в пляс у костра, их тени — огромные и причудливые — плясали вместе с ними на рыжих скалах.

«Ну что, именинница, — крикнул Марцелло, делая паузу в музыке и подмигивая, — теперь семнадцать! По законам дороги можно и чарку чего покрепче вина. Для храбрости, а то у тебя и так её с избытком!» Все засмеялись. Алия лишь улыбнулась, смущённая и счастливая, и покачала головой, но Бруно уже протягивал ей маленькую потертую фляжку. Она сделала маленький глоток, скривилась, и все зааплодировали.

А я стоял в стороне, сжимая в потной ладони свой жалкий подарок. Весь вечер, пока другие ставили шатёр, я рыскал по окрестностям, надеясь найти хоть один, самый жалкий цветок. Но пустошь была беспощадна. Лишь серые колючки да каменные репейники, цепкие и злые. За неимением цветов я решил подарить несколько ракушек, взятых из дома — они весьма ценились благодаря своей безупречности и прочности. Бродячие торговцы их вечно покупали и везли на Материк, где ничего подобного не видывали. Я выбрал пять самых ровных, от жемчужно-серого до цвета старой меди.

Подойдя к ней, когда она ненадолго оказалась одна, я протянул камешки на раскрытой ладони.

— С днём рождения, — пробормотал я. — Это… это вместо цветов. Их тут нет.

Она посмотрела на плоские камешки, потом на меня. И засмеялась. Коротко, звонко, беззлобно.

— Рыбак, — сказала она, и в этом слове не было оскорбления, но была непреодолимая дистанция. Вся пропасть между моим прошлым на Приливном Камне и её вольной, кочевой жизнью. Она всё же взяла ракушки, перебрала их пальцами с ловкостью жонглёра и положила в карман платья. — Спасибо.

Музыка снова заиграла, более быстрая и заводная. Сердце колотилось у меня в груди, как барабан перед представлением. Пригласи её, — шептал внутренний голос. Сейчас или никогда. Я подходил к ней трижды.

В первый раз она, улыбаясь, сказала: «Ой, Далин, у меня шнурок на башмаке развязался», — и наклонилась, будто это было делом величайшей важности.

Во второй раз я застал её в оживлённой беседе с Ренальдо о каком-то старом трюке с кольцами. Она сделала вид, что не слышит моего робкого «Алия?», всем видом показывая погружённость в разговор.

В третий раз я уже почти решился, подойдя сбоку, но она вдруг вскрикнула: «Смотрите, падающая звезда!» — и все, включая меня, невольно подняли головы к усыпанному холодными искрами небу Валары. Когда взгляды опустились, она уже танцевала с Лео, легко и грациозно, а пламя костра отражалось в её глазах и в медном язычке пламени на щеке партнёра.

Я отступил в тень, за линию света. В руке я сжимал одну оставшуюся ракушку, которую зачем-то носил с собой. Где-то внизу, в ущелье, шумела вода, точившая камни. А я чувствовал себя точно таким же камнем — гладким, бесполезным и бесконечно далёким от тепла этого костра и её смеха. Рыбак. Так оно и было. И в этой пустоши, под этим чужим золотисто-белым солнцем, мне казалось, что я сбежал от одного берега, но так и не доплыл до другого.

Рыбак. Всю ночь это слово отдавалось во мне глухим, каменным эхом. Оно было круглым и гладким, как та ракушка, что я зажал в кармане. Его нельзя было сломать или спрятать. Оно просто лежало на дне сознания, холодное и неоспоримое. Я думал, что, сбежав с Приливного Камня, я стряхну с себя его песок и солёную корку. Что я стану другим — сильным, как Бруно, ловким, как Лео, нужным. Что она увидит не мальчишку с архипелага, а человека. Но оказалось, побег — это не прыжок через пропасть, а лишь первый шаг по канату, натянутому над бездной. А по ту сторону — она. И я всё ещё тут, на своей стороне, а она — на своей.

Каждый её взгляд, уклонившийся от моего; каждое её «да» или «нет», брошенное через плечо; этот сегодняшний танец, от которого я был отстранён, будто стеклянной стеной, — всё это выстраивалось в единую, неумолимую карту отчуждения. Я изучал её, как когда-то изучал карты звёздного неба, пытаясь найти путь. Но на этой карте для меня не было маршрута. Я был просто пятном на полях, пометкой «здесь драконы» или «пустошь».

И на фоне этой тихой, ежедневной боли завтрашнее выступление вырастало в чудовищную, нелепую гору. Не просто первый выход на арену. Нет. Это был мой шанс. Единственный, отчаянный способ закричать на языке, который она, может быть, поймёт. Языке силы, ловкости, пользы. Бруно говорил: «Покажи себя. Арена — она как море. Либо ты его покоряешь, либо оно тебя смывает». Я боялся не смыва. Я боялся, что выйду, и она посмотрит. И снова увидит того же самого рыбака, неуклюже переодетого в костюм силача. Что мои мышцы, налитые за два месяца тяжёлой работы, окажутся просто комичной бутафорией. Что я уроню гирю или, того хуже, просто буду стоять, краснея под гримом, пока Бруно будет вытягивать номер на моей немоте.

В голове крутились картины: я выхожу под рёв (или скудный хлопок) местной деревенской публики. Вижу её где-то за кулисами, в тени. Она наблюдает — не как за Зарой на канате, с замиранием сердца, а просто наблюдает. Как за погодой. И затем отворачивается, потому что ничего интересного не происходит. Эта мысль жалит острее, чем любая колючка пустоши.

Я сжимаю кулаки в темноте. Ладони, стёртые в кровь канатами и железом, ноют. Это хорошая боль, честная. Она напоминает: ты что-то делаешь. Ты борешься. Но впереди — боль другого рода. Боль от молчания, которое может последовать после завтра. Боль от того, что

даже попытка стать ближе обернётся лишь новым доказательством того, как далеко мы друг от друга.

Завтра я выйду на этот круг, утоптанный тысячами ног, под этот холщовый купол, заменяющий небо. Я подниму вес, который мне недавно и во сне не снился. И всё это время буду искать в полутьме за огнями её лицо. Не для одобрения. Просто чтобы знать, что она видит. Даже если в её глазах будет лишь холодная вежливость профессионала к новичку. Даже если она снова, проходя мимо после представления, скажет короткое «нормально» и исчезнет.

Потому что эта дистанция — мой новый архипелаг. И каждый мой выход на арену — это послание в бутылке, брошенное в бурное море её равнодушия. Я не знал, доплывёт ли оно когда-нибудь до берега. Но бросать его — единственное, что у меня оставалось.

Глава 3 Пыль кулис и блеск огней

«Театр — это не про то, чтобы выйти к людям. Театр — это про то, чтобы люди пришли к тебе.»

Андрей Миронов.

Город, где мне предстояло впервые выйти на публику, назывался Пустошь-на-Камне. Ирония в том, что он был точной копией Приливного Камня, только ещё беднее и унылее. Каменные лачуги, чахлые кустики «шептуна» и вездесущая, едкая пыль. Но для меня это был не город. Это была пропасть, на краю которой я стоял, чувствуя, как поджилки холодеют, а в животе плавится свинцовый ком.

За кулисами — вернее, за огромным колесом фургона — пахло страхом. Моим страхом. Он был кислым и густым, как тухлая рыба. Я стоял в своем костюме — это была просто набедренная повязка из звериной шкуры и накидка на одно плечо, раскрашенная суриком под мышцы. Я чувствовал себя не воином, не героем, а голым дураком. Бруно, с бинтованной рукой, пинал меня здоровым коленом в спину.

— Выпрямись, дерево! Ты же должен быть монументом! Не дрожи! Люди платят за то, чтобы видеть мощь, а не комок нервов!

Но я дрожал. Руки, которые за секунду до этого легко рвали цепь на репетиции, стали ватными. Я слышал гул толпы за полотнищем парусины — не привычный шум прибоя, а рокот сотен чужих голосов, смех, крики детей. Он был живым и голодным. Он ждал зрелища.

Потом грянула музыка. Та самая, дерзкая и бесстыдная. Марцелло вышел на арену, его голос, усиленный медным рупором, разрезал воздух: «…и сейчас, сыны и дочери Пустоши, вы увидите дикаря с края света, чья сила рождена в объятиях самого морского демона! Неукротимого… ДАЛИНА!»

Меня вытолкнули.

Свет. Оглушительный, ослепляющий. Он бил в лицо, выжигал из глаз все мысли, оставляя только животный ужас. Я замер, ослеплённый, оглушённый. Толпа на миг притихла, оценивая. Потом раздался смешок. Один. Потом ещё. Они видели не героя. Они видели застывшее в панике животное.

И тогда я увидел её. Алию. Она стояла в проходе за ареной, в тени, уже в своём воздушном костюме для следующего номера. Она не улыбалась. Она просто смотрела. Её взгляд был как ледяная вода, выплеснутая в лицо. В нём не было ни жалости, ни поддержки. Было холодное, профессиональное ожидание: «Ну? Что ты можешь?»

Этот взгляд стал плетью. Стыд, горячий и ядовитый, ударил в голову, сжигая страх. Я не для того сбежал, не для того рвал руки в кровь, чтобы быть посмешищем для этой серой толпы и объектом её равнодушного оценивания.

Я зарычал. Звук вышел низким, из самой груди, неожиданно даже для меня. И сделал первый шаг. К гирям.

Дальше всё стало как в тумане. Толпа, свет, даже боль в мышцах — всё отодвинулось. Остался только знакомый ритуал силы. Я поднял гирю. Не так изящно, как Бруно, но мощно, с тем самым кряхтением, что вырывалось из груди, когда тащил полную сеть против течения. И случилось чудо — смешки стихли. Потом я взял цепи. Поместил звено на грудь, собрал всё, что есть в душе — и тоску по дому, и ярость к самому себе, и эту безумную жажду доказать — и рванул.

ЩЁЛК!

Звук разорвавшегося металла прозвучал, как выстрел. На арене воцарилась тишина, а потом её взорвал рёв. Не аплодисменты сначала, а именно рёв одобрения, удивления, восторга. Это был звук, который я никогда не слышал. Он обрушился на меня волной, горячей и плотной. Он входил в уши, ударял в грудь, заставляя сердце колотиться уже не от страха, а от дикого, первобытного возбуждения.

Я закончил номер, удерживая на плечах платформу с Марцелло и двумя карликами. Мои ноги дрожали, в глазах стоял туман от натуги, но я стоял. И когда я, сбросив груз, выпрямился и поднял руки (как учил Бруно), зал взорвался уже аплодисментами. Это был не шум. Это было море. Море звука, бьющее в берег моей души. И в этом море я не тонул. Я плыл.

За кулисы я вернулся на ватных ногах. Всё тело гудело, как натянутая струна. Ко мне подбежали «карлики», хлопали по спине. Ренальдо подмигнул. Бруно, хмурый, кивнул: «Сойдёт».

И тогда я увидел, как она — Алия — проходит мимо, направляясь на арену для своего танца. Она замедлила шаг. Наши взгляды впервые встретились по-настоящему. Не скользнули, а встретились. И на её губах, на этих прекрасных, насмешливых губах, появилось нечто. Не улыбка одобрения. Нет. Это была короткая, стремительная вспышка. Искра. Почти что одобрительная, но всё ещё острая, как бритва. Она длилась меньше секунды. Она не была для толпы. Она была для меня. И в ней было лишь одно послание: «Ну, вот. Первый шаг. Но это только начало».

Потом она ушла на свет, и начался её танец — лёгкий, невесомый, всё то, чем не был мой тяжёлый, грубый номер.

Я стоял, прислонившись к холодному дереву фургона, слушая рёв толпы, уже теперь для неё, и сжимал в окровавленной, загрубевшей ладони тот самый медяк, что сунул мне Марцелло. Металл был тёплым от моего пота. Он ничего не стоил. Но эта мгновенная, исчезающая искорка… она стоила больше, чем всё золото материка. Она была моей первой, самой ценной и самой опасной наградой. И я знал, что теперь готов рвать цепи и поднимать горы только ради того, чтобы увидеть её снова.

Дни шли за днями, недели за неделями. Они сливались в одно тягучее, пыльное время, отмеряемое скрипом колёс, запахом конского пота и солёным, тоскливым ветром с моря. Мы не останавливались нигде дольше, чем на пять дней — ровно столько, чтобы сколотить из досок и холста хлипкий круг арены, огласить окрестности барабанным боем и увести повозки прочь, пока не надоели местным и не выдоились их скудные медяки.

Два месяца. Шестьдесят долгих суток Валары. И за всё это время я не видел ни одного города, только рыбацкие деревни, прилепившиеся к скалам, будто ракушки. Приземистые домики из тёмного камня, сети, развешанные для починки, и вездесущий, въедливый запах рыбы и йода. Наш цирковой табор, словно жук-скарабей, медленно и упрямо полз вдоль побережья, петляя по просёлочным дорогам. Время было дорого — сезон Гнева, Долгая Тень, неумолимо наступал. Как объяснил мне хриплым голосом Марцелло, вытирая медный медальон на своей впалой груди, в промысловый сезон в деревнях остаются только старики да малые дети. Вся остальная жизнь уходит в море, на беспощадную схватку с океаном. Нам нужно было ловить момент, этот короткий промежуток, когда сети ещё чинят на берегу, а лодки не ушли в багровеющую даль.

А я ловил только её взгляд. Алию. И всякий раз мои сети оказывались пусты.

После первого выступления я надеялся, что её отношение ко мне изменится, но ни после первого, ни после третьего выступления в рыбацких городках и деревнях Алия не стала ближе. Она продолжала делать вид, что я — не человек, а неудобная, громоздкая вещь. Вроде того бочонка с пресной водой, что болтается под повозкой. Существует, необходим, но не удостаивается разговора.

У костра по вечерам она оживала, как маленькое, яркое пламя. Её смех, звонкий и беззаботный, переплетался с голосами Лео, Зары, старика Ренальдо. Она сидела, поджав ноги, и

золотой отблеск огня играл в её тёмных волосах, а медная монетка-талисман на груди плясала от каждого движения. Я садился поближе, пытался вставить слово — о погоде, о дороге, о трюке, который Бруно показал мне днём. Ответом мне было молчание, а если я настойчиво повторял вопрос, следовало односложное: «Да», «Нет», «Возможно». Произносимое так, будто каждое слово стоило ей невероятных усилий.

Бруно, мой наставник, с его медвежьей силой и тихим нравом, хлопал меня по плечу после тренировок, оставляя на коже ощущение тепла и утешения. «Не торопись, мальчик. У неё свои ветра в голове. Ты для неё — щенок, который сбежал из тёплой конуры. Покажи ей, что ты стал волком».

Но как показать, если она не смотрит? Я выжимал гири до дрожи в мышцах, таскал тяжёлые тюки с реквизитом, учился стоять на канате, чувствуя, как подо мной шатается не только верёвка, но и весь мир. Я делал это, чтобы заслужить место среди них, этих вольных людей с запахом дорожной пыли и дальних стран. Но главное — чтобы однажды, в очередную вечернюю стражу у костра, она повернула ко мне лицо не с вежливой пустотой, а с интересом. Чтобы в её глазах, обычно устремлённых куда-то вдаль, за пределы нашего кочующего круга, мелькнуло отражение не бочонка с водой, а меня. Далина. Беглеца с Приливного Камня, который променял тихую судьбу сына рыбака на этот бесконечный путь в никуда — и всё из-за неё, из-за одного её танца на канате под куполом из звёзд, который теперь казался сном.

А пока что я был невидимкой. И самые долгие, самые пустынные километры проходили не по пыльной дороге, а в двух шагах от неё, в громогласном молчании, которое разделяло нас куда надёжнее, чем любая стена Приливного Камня.

Не знаю, что было бы со мной, продолжайся эта пытка дальше. Пожалуй, к тому моменту, когда табор отправился на материк, я был морально готов всё бросить и возвращаться домой, поджав хвост, как бродячий пёс.

Но в один день всё переменилось.

Решение пришло не с утра. Оно повисло в воздухе ещё с вечера, после того последнего сбора у костра в безымянной долине, где даже «шептун» не рос. Марцелло объявил коротко, выбивая пепел из трубки о сапог:

— Хватит жевать эту пыль. Поворачиваем к морю. К Материку.

Слово это — Материк — прозвучало не как географическое название. Оно прозвучало как приговор и обетование одновременно. Для них — возвращение домой, к горящим очагам Спарки и пряным улицам городов. Для меня… я не знал, что это для меня. Новая бездна, только сухая и наполненная не водой, а чужими взглядами.

Путь к морю был похож на последнюю попытку Пустоши удержать нас. Ветер стал злее, пыль поднималась стеной, сквозь которую солнце просвечивало грязно-рыжим диском. Колёса вязли по ступицы. Мы вытаскивали фургоны сообща, и я, по привычке, брал на себя самый тяжёлый груз — упряжь, задние колёса. Работал молча, яростно, будто пытался оставить всю свою тоску и немоту здесь, в этой проклятой земле.

Алия в эти дни казалась ещё дальше. Она будто уже мыслями была там, на тех берегах. Чаще молчала, а когда смотрела на горизонт, в её глазах горел тот самый огонь, о котором они все говорили. Не тёплый свет очага, а тревожное, нетерпеливое пламя ожидания. Я ловил себя на мысли, что боюсь Материка ещё и потому, что боюсь её там. Той, что принадлежит миру с храмами и толпами, а не бродячему каравану в пыли.

И вот однажды утром воздух изменился. Пыль всё ещё висела, но в ней появилась влажность. Тонкая, едва уловимая, но знакомая до слёз. Потом послышался звук. Сначала как отдалённый грохот, потом как вечное, могучее дыхание. Море.

Мы вышли к обрыву. И я замер.

Это было не наше, не Море Серебристых Теней. Оно было синим. Неслыханно, дерзко синим, даже под пасмурным небом. Оно не лежало свинцовой плитой, а играло, подёргивалось белыми барашками, и его простор был таким огромным, что дух захватывало. А на том берегу… там лежала зелёная, дымчатая полоса. Материк. Он казался миражом, нарисованным водой и светом.

— Красиво, да, рыбак? — услышал я голос Ренальдо. — Твоё болото отдыхает.

Это не было моим болотом. И это пугало больше всего.

Нас ждал паром — громадная, плоская, вонючая дёгтем и рыбой баржа. Погрузка была нервной: лошади ржали, фургоны скрипели по сходням. Когда мы отчалили и берег Пустоши поплыл назад, я стоял у борта и смотрел на удаляющиеся рыжие скалы. Там, где-то за горизонтом, оставался Приливной Камень. И я впервые понял, что навсегда. Море теперь было не домом, а границей. И я пересекал её в обратную сторону.

Материк встретил нас не аплодисментами, а запахом — влажной земли, цветущих полей, дыма человеческих жилищ. Дороги стали мягче, травянистее. Вокруг были не камни, а изгороди, пастбища, а вдали — первые квадратные башни какого-то укрепления.

Первый город на пути был даже не городом, а форпостом — скоплением домов у стены небольшой крепости, который так и назывался: Сторожевой Камень. Но для нас, циркачей, и это было событием. Здесь была хоть какая-то публика, отвыкшая от зрелищ за долгие месяцы.

Подготовка к выступлению была иной. Теперь мы были не бродягами в пустыне, а артистами, вернувшимися в цивилизацию. Даже Бруно, с его ещё не до конца зажившей рукой, надел потёртый, но расшитый бисером жилет. На мне появился новый, чуть более детальный костюм «дикаря» — с бронзовыми наручами и мехом попышнее.

Когда я вышел на импровизированную арену на площади перед кабачком «У Весёлого Солдата», меня ждала не толпа селян, а сборная солянка из всего, что было в форте: несколько уставших солдат в потёртых мундирах, местные торговцы, крестьяне с любопытными, но настороженными лицами. Они смотрели на меня не как на чудо, а как на диковинку. На товар, который нужно оценить.

И я выдал тот же номер. Гири. Цепи. Платформа. Но здесь, под стенами чужой крепости, под взглядами людей, говоривших на певучем, но чуждом наречии, всё было иначе. Моя сила, рождённая в дикости, здесь казалась атавизмом. Рутиной. Они хлопали, но без того дикого рёва, что был в Пустоши-на-Камне. Их аплодисменты были сдержанными, как будто они боялись слишком громко выразить одобрение чему-то первобытному.

Самым странным было видеть знаки Спарки. Над дверью кабачка висела вывеска с её пламенем. У одного из солдат на груди болтался такой же медный медальон, как у Марцелло. И когда я рвал цепь, мне вдруг показалось, что я делаю это не просто так, а перед ней. Перед той, чьи зелёные глаза следят отовсюду. И от этой мысли стало не по себе. Моя сила была моей. Выстраданной. А здесь она вдруг стала частью чего-то большего, чего-то, чьи правила я ещё не знал.

После номера, когда я, тяжело дыша, стоял в тени фургона, ко мне подошла не Алия. Подошла Зара, канатоходка. Она молча протянула кружку с водой. В её глазах читалось что-то вроде понимания.

— Не переживай, новичок, — сказала она тихо. — Здесь народ привередливый. Привык к фокусам и танцам. Дикую силу они уважают, но… побаиваются. Как дикого зверя.

Я кивнул, не в силах вымолвить слова. Где-то на арене уже лилась музыка, и, должно быть, выходила Алия. Её танец здесь, на краю её мира, наверняка был другим. Более уверенным, более своим.

Первый медяк, заработанный на Материке, я получил из рук самого хозяина кабачка — толстого мужчины с блестящим от жира лицом. Монета была другой. Тяжелее. На ней был отчеканен не абстрактный узор, а тот самый знак пламени.

Я сжал его в кулаке. Он был холодным. И я понимал, что аплодисменты в Сторожевом Камне — это не победа. Это допуск. Допуск в мир, где всё сложнее, холоднее и где моя простая сила — всего лишь один из многих инструментов в огромном, отлаженном механизме, движимом волей далёкой, зелёноглазой богини. И где место рядом с Алией нужно было заслуживать уже по совершенно новым, неведомым правилам.

В городе, который звался Сторожевой Камень, запахи были другими. Не соль и рыба, а хлеб, жареные каштаны, парфюмерия и конский навоз. И ещё — запах горячего камня и чего-то горького, как полынь. Этот последний шёл оттуда, от центра площади.

Мы дали два представления. Народ был щедрее на медяки, но скуп на дикий восторг. Всё было чинно, почти ритуально. После, когда сумерки окрасили небо в цвет синяка, а цирк начал готовиться к ужину, меня потянуло туда, откуда веяло этим горьким теплом.

Я скинул свой дурацкий, пропитанный потом костюм силача, надел простую рубаху и, не говоря никому, пошёл сквозь узкие улочки, где в окнах уже зажигались жёлтые огоньки. Площадь была пустынна, замощена тёмным, отполированным временем камнем. И в её центре, обнесённая невысокой, узорчатой оградой из чёрного металла, зияла дыра.

Это было святилище. Но никакого храма не было. Был только колодец. Широкая, круглая пасть, сложенная из того же тёмного камня. Из неё, невидимо, поднимался жар, искажая воздух над собой, как марево. А внутри, в глубине — горело.

Это был не костёр. Это было сердце пламени. Оно не плясало языками. Оно клокотало, как расплавленный металл, густое, яростное, почти жидкое. Цвет его был не золотым, а бело-голубым в самой сердцевине, переходящим по краям в ядовито-зелёный. Оно не давало света, чтобы осветить площадь. Оно пожирало свет вокруг себя, делая сумерки у его края ещё гуще. От него не пахло дымом. Пахло озоном, камнем после удара молнии и той самой полынью — горькой, очищающей.

Я стоял у ограды, вжав пальцы в холодные прутья, и смотрел. Это было её дыхание. Спарки. Та самая, живая, жестокая, требовательная. Моё собственное дыхание стало прерывистым. Я ждал… не знаю чего. Чуда? Знака? Укора? Но пламя просто горело. Безмолвно и всевластно. Оно не нуждалось в моём восхищении или страхе. Оно просто было. Вечное напоминание о том, что где-то ходит женщина с глазами такого же зелёного огня, которая может прикоснуться к этой бездне и не сгореть.

И тут, сквозь гул в ушах и рокот пламени, я услышал шаги. Лёгкие, почти бесшумные, но узнаваемые до мурашек на коже. Я не обернулся. Я знал.

Она подошла вплотную, остановилась сзади, чуть сбоку. Я чувствовал исходящее от неё тепло, отличное от жара колодца — человеческое, живое, и запах — сандала и какой-то холодной, горной травы.

— Нравится? — её голос прозвучал тихо, но чётко, перекрывая отдалённый гул огня.

Я не нашёлся, что ответить. Моё молчание, видимо, стало ответом.

— Здесь не молятся, — продолжила она, и я почувствовал, как её взгляд скользит по моему затылку, по напряжённым плечам. — Здесь наблюдают. Слушают. Огонь говорит. Предупреждает. Иногда… наказывает.

— Как? — вырвалось у меня, голос хриплый от долгого молчания.

— Если он погаснет — конец всему. Если вырвется из колодца — сожжёт город дотла. Он — договор. Как и твой Некромод, да? Только наш договор — не с холодом и глубиной. Он — с яростью. С чистотой уничтожения.

Она сделала шаг вперёд, теперь её плечо почти касалось моего. Я видел её профиль в багровом отблеске пламени — высокую скулу, прямой нос, ресницы, отбрасывающие длинные тени на щёку.

— Ты сегодня был силён, — сказала она, и в её голосе не было ни лести, ни насмешки. Была констатация. — Но груб. Как этот огонь, когда его только раздувают. Он рвётся, бьётся, хочет всё спалить. Им нельзя управлять. Им можно только… направлять. Делать его изящным. Чтобы он резал, а не ломал. Жёг, а не испепелял.

Она наконец повернула ко мне лицо. Глаза её в отражении колодца были не зелёными. Они были чёрными, бездонными, с крошечными золотыми искрами глубоко внутри, как угли под пеплом.

— Ты хочешь заслужить моё сердце, Далин-силач? — спросила она, и её губы тронуло что-то, что не было улыбкой. Это была тень улыбки. — Тогда научись не просто рвать цепи. Научись чувствовать огонь. Даже если он жжёт. Особенно — если он жжёт. Наша богиня не любит тех, кто боится жара.

Она задержала на мне этот пронзительный, оценивающий взгляд ещё на мгновение, потом плавно развернулась и пошла прочь, растворившись в сгущающихся сумерках так же бесшумно, как и появилась.

Я остался один. Перед пылающей бездной, в которой клокотала ярость целого мира. И в груди у меня, медленно, неотвратимо, разгорался ответный огонь. Не яростный и дикий, как раньше. Другой. Сосредоточенный. Целеустремлённый. Она дала мне не надежду. Она дала мне задачу. И оставила меня наедине с её богиней, будто говоря: «Вот твой новый противник. Вот твой новый учитель. Способен ли ты?»

Я сжал кулаки на холодной ограде. Пламя в колодце, будто в ответ, выбросило сноп искр, осветивших площадь на миг ослепительно-белым светом. Я не отвёл глаз. Я смотрел в самое его пекло. И впервые за всё время скитаний я почувствовал не тоску по дому. Я почувствовал вызов. И это чувство было страшным, горьким и пьяняще-сладким. Как первый глоток «глотки» на взрослой вечерине. От которого сжимается горло, но по жилам разливается жар, говорящий: «Ты жив. Ты в игре».

Слова её повисли во мне, как крючья. Не ранили, а зацепились. За каждое ребро, за каждую мысль. «Научись чувствовать огонь». Что это значит? Я знал, как чувствовать сеть — её напряжение, её дыры, живую тяжесть улова внутри. Я знал, как чувствовать море — его злобу перед штормом, усталую гладь после, холодную соль на губах. Но огонь? Огонь — это то, что пожирает. То, от чего шарахаются. Его чувствуют только болью. Или страхом.

Я стал наблюдать. Не за ней — за этим невозможно было наблюдать, не сходя с ума, — а за ними. За теми, кто носил медальон Спарки не как украшение, а как второе сердце.

Я смотрел, как Лео, канатоходец, тренируется со своими шестами. Он не просто балансировал. Он вливался в линию, становился её продолжением. Его сила была не в мышцах, а в тишине, в абсолютной сосредоточенности. «Не ломать линию, а быть ею», — сказал он как-то, заметив мой взгляд. Огонь? Нет. Но был жар — жар полного самоотречения.

Я следил за Беппо, старым клоуном. Его шутки казались глупыми, но каждая пауза, каждый взгляд в зал были выверены, как удар часового механизма. Он не смешил. Он управлял смехом. Высекал его из толпы, как искру из кремня. Искра. Маленькое, мгновенное пламя. Было ли это тем самым «изящным огнём»?

Но больше всего я вглядывался в работу с огнём напрямую. В номер жонглёра Ренальдо. Он не бросал факелы. Он водил ими по воздуху, и пламя оставляло за собой шлейфы, сплетающиеся в узоры. Его руки двигались плавно, почти лениво, но каждый мускул был натянут, как тетива. Однажды, когда ветер чуть не погасил факел, я видел, как его лицо не дрогнуло. Он просто изменил угол, подышал едва заметно — и пламя ожило, послушное. Управление. Не насилие. Согласие.

Я начал пробовать на своих тренировках. Не просто рвать цепь. Чувствовать её. Сначала это казалось безумием. Цепь — это холодный, мёртвый металл. Но я закрывал глаза (Бруно орал, что это глупость) и искал в ней… слабое звено. Не физически слабое, а то, которое готово поддаться. Точку, где напряжение собирается в тугой, поющий узел. И когда я рвал, я рвал не от всей дури, а направляя силу именно туда. Звук стал другим — не диким лязгом, а чистым, звонким хлопком. Бруно замолчал, прищурился.

Потом я взял факел. Настоящий, с пропитанным маслом фитилём. Моя рука, привыкшая к якорной тяжести, дрогнула. Пламя колыхалось, трепетало, как пойманная птица. Я вспомнил колодец Спарки. Ярость, заключённая в каменные берега. Я не стал его бояться. Я стал считаться. Стал двигать рукой не резко, а текуче, как Ренальдо, позволяя пламени жить своей жизнью, но в русле моего движения. Оно перестало пытаться обжечь мне бровь. Оно потекло за моей рукой, как вода за веслом.

Алия наблюдала. Никогда прямо. Краем глаза. Когда я разминался у фургона. Когда неуклюже жонглировал двумя яблоками, пытаясь поймать их ритм. Я видел, как её взгляд иногда задерживался на моих руках, когда я, уже не рыча, а с сосредоточенным молчанием, работал с гирями, стараясь, чтобы движение было не толчком, а волной силы, идущей от пяток до кончиков пальцев.

Однажды, после особенно удачного (как мне казалось) номера в какой-то деревушке, где я не просто порвал цепь, а сделал это с каким-то подобием грации — не зажмурившись, а глядя в зал, — я поймал её взгляд. Она стояла в проходе, уже готовая к своему выходу. И она не улыбнулась. Она кивнула. Один раз. Коротко. Невидимо для всех, кроме меня.

Этот кивок стал для меня большей наградой, чем все медяки. Это был не знак одобрения. Это был знак: «Ты на правильном пути. Но пути — длиннее, чем ты думаешь».

Я понял, что «чувствовать огонь» — это не про пламя в колодце. Это про огонь внутри. Про ту ярость, тоску и силу, что кипели во мне. Их нельзя было просто выплеснуть, как выплёскивал я ярость, рвя сети после неудачного дня. Их нужно было обуздать. Направить. Сделать своим инструментом. Чтобы сила не ломала, а творила. Чтобы ярость не ослепляла, а закаляла взгляд. Чтобы тоска по дому не парализовала, а толкала вперёд — к новой цели, к новому «я».

Она говорила о Спарке. А я, сын Некромода, начал понимать, что, возможно, самые глубокие и самые яростные огни горят не на земле, а в глубине человеческого сердца. И самое трудное — не дать им потушить тебя, а научиться дышать этим жаром, жить в нём и, однажды, может быть, стать таким же чистым, безжалостными изящным пламенем, которое сумеет растопить лёд в её глазах и заслужить то, что нельзя купить или выпросить — её сердце.

И именно в этот день случилось то, чего я не ждал. После выступления Марцелло позвал меня к своему фургону. Не для разноса. Он сидел за своим походным столиком, на котором лежали медяки, отсчитанные в стопки.

— Далин, — сказал он, и в его голосе не было обычной сухой насмешки. Была деловитость. — Публика перестала видеть в тебе просто дикаря. Они видят артиста. Немного дикого, но… артиста. С завтрашнего дня — пять медяков за выход.

Он отодвинул ко мне небольшую кучку монет. Они блестели в свете масляной лампы. Пять. Вместо одного. У меня перехватило дыхание. Я кивнул, не зная, что сказать. «Спасибо» казалось здесь неуместным.

— И молодец, что слушаешь Бруно, — добавил Марцелло, уже отворачиваясь к бумагам. — Учишься не просто ломать, а показывать. Это ценится.

Я вышел, сжимая в кармане тёплые монеты. Это была не просто плата. Это была оценка. Признание. Во мне, в сыне рыбака, увидели не только грубую силу, но и нечто, что можно шлифовать. Гордость, острая и сладкая, подкатила к горлу. Я хотел крикнуть. Хотел, чтобы кто-то увидел. Хотел похвастаться своими успехами, но вокруг были только цирковые, для них мои успехи были лишь одним из шагов на пути. Оглянувшись, я увидел Лео.

Канатоходец, стоял у костра, куда уже подтягивались другие после ужина. Он что-то рассказывал, и его обычно спокойное, сосредоточенное лицо было озарено внутренним светом. Я присел на корточки поодаль, чтобы не мешать, но слышал каждое слово.

— …а в столице, — говорил Лео, и его голос звучал мечтательно, почти благоговейно, — там не площадь. Там амфитеатр. Из белого камня. Тысячи мест. И когда зажигаются огни… не эти наши коптилки, а сотни магических фонарей, что горят чистым, холодным светом… вся арена становится как дно хрустальной чаши.

Он сделал паузу, глотнул вина из кружки, и его глаза блестели отражением нашего костра и тех далёких, воспоминаемых огней.

— И народ… О, народ там не орёт, как здесь. Они… дышат с тобой в такт. Ты выходишь на канат, и стоит такая тишина, что слышно, как скрипят блоки под куполом за полверсты. А когда делаешь тройное сальто… не аплодисменты. Сначала — вздох. Один, на тысячу глоток. Как ветер в ущелье. А потом… потом грохот. Как обвал. Но не дикий. Благодарный. Они знают, что видят лучшее. Они ценят мастерство, а не диковинку.

Он замолчал, уставившись в огонь, будто видел в нём те самые хрустальные огни столицы.

— А после выступления, — продолжил он уже тише, — тебя ведут не в трактир. Тебя ведут в Дом Гильдии. Там мраморные полы и фрески Спарки на стенах. И там… артистов кормят не похлёбкой. Подают вина из стеклянных кубков, мясо на серебряных блюдах. И с тобой говорят. Графы. Маги. Они жмут тебе руку и говорят: «Искусно, маэстро». Маэстро. Понимаешь?

Его слова висели в воздухе, густые, как дым, и сладкие, как мёд. Я сидел, заворожённый. Амфитеатр. Тишина, что слышно скрип блоков. Благодарный грохот. Маэстро. Эти слова не имели для меня конкретного смысла, но они создавали образ. Образ вершины. Той самой дали, к которой, оказывается, можно прийти не только в мечтах.

Я посмотрел на свои руки, ещё красные от сегодняшнего напряжения, на потёртые, простые штаны. Пять медяков в кармане вдруг показались жалкими монетками. Но и они, и слова Лео были ступенями. Одной — в мир признания здесь, в бродячем цирке. Другими — в тот немыслимый, сияющий мир белого камня и тишины перед сальто.

И я понял, чего хочет Алия. Она не хочет оставаться вечной бродяжкой на пыльных дорогах. Её огонь рвётся на ту самую, большую арену. Чтобы её танец видели не сотни, а тысячи. Чтобы её имя знали не в захолустных городишках, а произносили с придыханием в мраморных залах. Она смотрела на горизонт не просто так. Она смотрела на столицу.

И мои пять медяков, и мои рваные цепи, и моя медленная, мучительная шлифовка — всё это было не просто попыткой заслужить её сердце. Это была попытка догнать её. Подняться

на ту высоту, где она уже парила в своих мечтах. Чтобы, когда мы наконец войдём в тот белый амфитеатр, я стоял рядом с ней не как грубый силач на подхвате, а как Маэстро Далин, чья сила — не дикость, а высокое искусство. И чтобы тот общий вздох тысячи зрителей был для нас обоих.

Я сжал медяки в кармане так, что края впились в ладонь. Боль была приятной. Напоминающей. Дорога была длиннее, чем я думал. Но теперь у неё была цель. И имя этой цели звучало, как музыка, — Столица.

Глава 4 Испытание на разрыв

«Сила — это необходимость преодолевать себя».
Ф. Ницше

Дорога перестала быть пыткой. Она стала путешествием. Каждый поворот колеса отдалял нас не только от Пустоши, но и от того грубого, немого парня, которым я был.

Сначала города были как Сторожевой Камень — больше, шумнее, но всё те же кабаки, та же пыль на окраинах. Потом появились стены. Настоящие, высокие, из светлого известняка, с башнями и воротами, где нас досматривала стража в блестящих, хоть и потёртых, кирасах. Их взгляды скользили по нашим фургонам с привычным презрением к бродягам, но уже без того дикого недоверия, что было на границах Пустоши. Мы стали частью пейзажа. Предвестниками праздника.

И сам пейзаж менялся. Поля стали ровнее, зеленее. Леса — не чахлыми перелесками «шептунов», а густыми, тёмными массивами с высокими, прямыми деревьями, чьих имён я не знал. В воздухе витал запах плодородия и порядка — дым идущих по расписанию печей, запах выпечки из больших пекарен, аромат цветов с ухоженных клумб у домов богачей.

И погода… О, погода! Холодный, режущий ветер Пустоши остался позади. Воздух стал мягким, ласковым. Даже дожди здесь были не ледяными плетьми, а тёплыми, обильными ливнями, после которых всё блестело на солнце, и земля пахла свежестью. Солнце само стало другим — не бледным диском, а золотым щитом, который грел плечи, не обжигая. Я впервые за долгое время снял свой потрёпанный наплечник и шёл в одной рубахе, и мне не было холодно. Это была теплота земли, которая уверена в себе, в своём изобилии.

Но главное тепло шло не от солнца. Оно шло от неё.

Алия… она менялась. Постепенно, почти незаметно, как тает лёд на весенней реке. Её взгляд, всегда устремлённый куда-то поверх голов, через горизонт, начал опускаться. Он стал задерживаться на окружающем мире. На зелёных лугах, на аккуратных мостах через быстрые речки. Я видел, как она иногда, сидя на облучке своего фургона, просто смотрит по сторонам, и на её губах играет лёгкая, почти неуловимая улыбка. Не та, острая и насмешливая, а спокойная. Улыбка человека, который приближается к дому.

А потом её взгляд начал находить меня.

Сначала это были случайные встречи глазами у общего костра. Она не отводила их сразу, а выдерживала паузу в одно дыхание, прежде чем перевести на кого-то другого. Потом она стала замечать мои тренировки. Не просто скользить взглядом, а останавливаться. Однажды, когда я отрабатывал новое движение с гирями — не подъём, а плавную переброску из руки в руку по широкой дуге, — я почувствовал её пристальное внимание. Закончив, я обернулся. Она стояла в нескольких шагах, опершись о колесо фургона, и смотрела. И кивнула. Тот же короткий, деловой кивок, но на этот раз в её глазах было что-то новое… Интерес. Не профессиональный, а личный.

Она стала со мной общаться. Не только по делу.

Как-то вечером, когда мы остановились у большой, медленной реки, она сама подошла ко мне, где я чистил удочку (старая привычка давала о себе знать).

— Ловить собрался? — спросила она, и в голосе не было насмешки.

— Нет, — сказал я. — Чищу. Чтобы руки помнили.

— А что помнят руки рыбака, кроме сетей и узлов? — спросила она, и это был настоящий вопрос.

Я рассказал. О том, как по дрожи лески угадываешь размер рыбы. О том, как холодная вода обжигает кожу иначе, чем пламя. Она слушала, не перебивая, её зелёные глаза были сосредоточены на моих руках, будто читая на них историю другой жизни. И в тот вечер, уходя, она сказала: «Странно. Казалось бы, вода и огонь. А и там, и там нужна чуткость».

С каждым днём, с каждым новым городом, где аплодисменты звучали всё осознаннее, а наши номера — отточеннее, эта невидимая нить между нами становилась прочнее. Мы не говорили о чувствах. Мы говорили о работе, о дороге, о видах из окна. Но в этих разговорах была теплота. Та самая, что топит лёд. Она перестала быть недосягаемой богиней на трапеции. Она стала… спутницей. Девушкой, которая тоже устаёт после долгой дороги, которая смеётся над неуклюжей шуткой Беппо, которая может замолчать и задуматься, глядя на закат.

И когда мы, наконец, подъехали к последнему перед столицей хребту, и Марцелло, указав вперёд, произнёс: «Завтра увидите», — я посмотрел не на горизонт. Я посмотрел на неё. Она стояла, вглядываясь в дымку, и на её лице был не просто азарт. Было предвкушение дома. И она, почувствовав мой взгляд, повернулась. И улыбнулась. Настоящей, тёплой улыбкой, в которой не было ни вызова, ни оценки. Была лишь тихая, разделённая радость от того, что долгий путь подходит к концу.

В тот миг я понял, что заслужил уже не просто её внимание. Я заслужил её присутствие в своей жизни. Не как цель, а как попутчицу. И это чувство было слаще любых аплодисментов и тяжелее любых гирь. Оно грело изнутри, как то самое ласковое солнце Материка, обещая, что самые холодные ночи остались позади. И что впереди, в сиянии столицы, нас ждёт не конец пути, а его новая, общая глава.

Я думал, что видел городские стены: в Утёсной Гавани, в Сторожевом Камне. Но это… это было не сооружение. Это была часть неба, спустившаяся на землю и застывшая в белоснежном, неприступном величии.

Она росла по мере нашего приближения, как мираж, который только твердеет от близости. Не из грубого камня, а из отполированного, светлого мрамора, испещрённого тонкой резьбой, которую можно было разглядеть лишь с сотни шагов. Башни, стройные и острые, как иглы, впивались в низкие облака. А над главными воротами, такими огромными, что под их аркой мог пройти наш весь караван, поставленный вертикально, сияла гигантская мозаика — лик Спарки. Но не яростный, как в колодцах. А спокойный, властный, с глазами из тёмной яшмы, которые, казалось, следили за каждым, кто приближается к её городу.

Дух захватило. Не от страха. От величия. От понимания, что мы, пыльный, пёстрый караван с потными лошадьми, подходим к подножию чего-то древнего и невероятного.

Но путь наш лежал не к воротам, а к некоему Подстенку.

Подстенком оказался не городок, а целый кишащий мир, прилепившийся к южной стене, как ракушка к скале. Узкие, кривые улочки были забиты постоялыми дворами, тавернами, складами и — что самое удивительное — десятками таких же, как мы, трупп. Мы увидели фургоны, расписанные диковинными зверями и звёздами, шатры с вымпелами, канатных плясунов, разминающихся прямо на крышах повозок. Воздух гудел на десятке языков, пах жареным мясом, пряностями, краской и потом. Это был кипящий котёл артистической братии со всего Материка.

Наше выступление было тут же, на главной площади Подстенка, вечером. Публика здесь была особенной — это были коллеги и горожане, видавшие виды. Они не охали от разорванной цепи. Они оценивающе хмыкали, замечая технику. Но когда я, вдохновлённый этой новой, конкурентной энергией, выдал свой номер с необычной для меня лёгкостью и даже добавил небольшую, репетированную с Бруно паузу-улыбку в кульминации, раздались не просто аплодисменты. Раздались одобрительные возгласы на разных языках и несколько профессиональных свистков. Это был высший знак признания здесь, в этой среде.

После, когда мы сидели в шумной таверне «У Рвущейся Струны», ко мне подсел Ренальдо. Его глаза блестели от выпитого и от общего возбуждения.

— Видал, мальчик? Весь этот зверинец? — Он махнул рукой на шумный зал. — Все они здесь ради одного. Фестиваля Искр.

Он рассказал. Каждый год, с первыми летними росами, у стен столицы начинается недельное безумие — Фестиваль Искр. Сотни трупп, актёров, музыкантов, фокусников соревнуются здесь, в Подстенке, за внимание столичных смотрящих — особых чиновников и признанных мастеров из Гильдии.

— И лучшие, — понизил голос Ренальдо, и в нём зазвучало благоговение, — не просто лучшие… избранные. Три, от силы пять номеров за весь фестиваль… их удостаивают чести выступить в Стеклянном Дворце. Перед самой знатью. Перед… — он сделал паузу для драматизма, — перед ней самой. Спаркой. Говорят, она присутствует на том гала-представлении.

У меня похолодело внутри. Дворец. Спарка. Вживую. Это было за гранью любых моих мечтаний.

— И мы… мы будем участвовать? — спросил я, едва выговаривая слова.

Ренальдо хлопнул меня по плечу.

— Марцелло не зря гнал лошадей. Мы как раз к началу успели. Завтра подаём заявку. А потом… потом, парень, нужно будет гореть так, как ты ещё не горел. Потому что здесь каждый — искра. Но нужно стать факелом, который видно из-за стены.

Я вышел из душной таверны на ночную улицу. Воздух был тёплым, звёздным. Где-то высоко, за неприступной белой стеной, мерцали огни столицы — тысячи, нет, миллионы огней, сливающихся в золотое сияние. Там был Стеклянный Дворец. Там была она — богиня огня.

Я посмотрел на наш фургон. В окошке её вагончика горел свет. Она не спала. Готовилась. Мечтала о том же.

И впервые за всю дорогу моя цель обрела не просто форму, а срок и испытание. Фестиваль. Несколько дней, чтобы доказать не только ей, не только Марцелло, но и всему этому пёстрому, талантливому миру, что сын рыбака из Приливного Камня достоин подняться выше самых высоких стен и засиять перед лицом самой богини. Страх смешался с азартом, сладким и острым, как крепкий алкоголь. Завтра начиналась не просто новая жизнь. Начиналась борьба за место в легенде.

Вечер в «Рвущейся Струне» гудел, как растревоженный улей. Смех, песни на десяти наречиях, звон кружек и притопывание в такт уличным музыкантам. Воздух был густым от пара жаркого, табачного дыма и всеобщего, лихорадочного возбуждения. Сквозь эту завесу я увидел его — Бруно. Он сидел один в углу, перед ним стояла нетронутая кружка, а его здоровая рука сжимала другую, всё ещё бинтованную, беспомощно лежащую на столе.

Я подсел. Он поднял на меня глаза. В них не было привычной надменности или профессиональной строгости. Была усталость. Глубокая, горькая, как дно самого солёного моря.

— Кость срослась криво, — произнёс он хрипло, не дожидаясь вопроса. — Знахари в последнем городе сказали. Силу вернёт. Но точность… изящество… — он качнул головой, и это движение было полным поражения. — На фестиваль с таким не пустят. Им нужна идеальная картинка. Не калека.

Он отпил, поморщился, будто глотал не пиво, а отвар полыни.

— Ты, мальчик… — он посмотрел на меня, и в его взгляде мелькнуло что-то странное, почти отеческое. — Ты был грубым куском гранита. Но ты учишься. Чувствуешь. Марцелло прав, повышая тебе ставку. — Он тяжело вздохнул. — Выступи там. За меня. За всех нас, кто когда-либо ломался на этой чёртовой арене. Сделай так, чтобы они ахнули не от дикости, а от мощи. Управляемой мощи. Понял?

Он протянул мне свою здоровую, мозолистую лапу. Я взял её. Рукопожатие было крепким, но в нём чувствовалась прощальная горечь.

— Удачи, силач, — бросил он и, поднявшись, тяжело заковылял к выходу, растворившись в толпе.

Его уход оставил за собой пустоту и холодок ответственности на моей шее. Он передавал мне не просто номер. Он передавал эстафету. И впервые я почувствовал не радость от предстоящего шанса, а тяжесть настоящего долга.

Я сидел, сжимая свою кружку, глядя в тёмное пиво, в котором отражались пляшущие огни светильников. Шум вокруг стал каким-то далёким, приглушённым. И сквозь этот шум я услышал лёгкий стук по дереву стола и почувствовал знакомый, сандаловый аромат.

Я поднял голову. Она сидела напротив, на том же месте, где минуту назад сидел Бруно. На Алии не было яркого сценического платья. Простой тёмно-зелёный кафтан, волосы собраны в небрежный узел, с которого выбивалась одна упрямая прядь. Она смотрела на меня не как на артиста, а как на человека.

— Тяжело? — спросила она просто.

Я кивнул, не в силах выговорить слова. Ком стоял в горле.

— Он был прав, — сказала она, обводя взглядом шумную таверну. — Здесь все — искры. Красивые, яркие, мимолётные. — Её взгляд вернулся ко мне, стал пристальным, проникающим. — Но ты… ты не искра, Далин. Ты — наковальня. На тебя обрушили море, тяжесть, долг, чужую боль. И ты не раскололся. Ты закалился.

Она протянула руку через стол и коснулась моих пальцев, всё ещё сжимающих кружку. Её прикосновение было лёгким, как падение лепестка, но от него по всей руке побежали мурашки.

— На фестивале будут жонглировать небесами, — продолжила она тихо, так что мне пришлось наклониться, чтобы услышать. — Будут ходить по воздуху и вызывать духов из пламени. Они будут изящны и непостижимы. Не пытайся быть как они. Будь собой. Будь той силой, которая не ломает, а поддерживает. Которая заставляет землю под ногами чувствовать себя в безопасности. Даже когда на ней танцует огонь.

Она убрала руку, но тепло её пальцев осталось на моей коже.

— Я буду танцевать, — сказала она, и в её глазах вспыхнула та самая, знакомая искра вызова, но смягчённая чем-то новым — доверием. — А ты… будь моей скалой. Моей тишиной перед бурей. Покажи им, Далин, что самая большая сила — это не в том, чтобы лететь выше всех. А в том, чтобы удержать небо, если оно начнёт падать.

Она встала. Посмотрела на меня ещё раз, и на её губах появилось нечто более тёплое и сокровенное, чем улыбка.

— Спокойной ночи, силач. Завтра начинается наша битва.

И ушла, оставив меня одного в гуле таверны, но уже не одинокого в мире. Её слова обвили моё сердце, как прочные, мягкие канаты. Она видела во мне не претендента, не ученика. Она видела союзника. Часть своего выступления. Часть своей битвы.

Я вышел на ночной воздух Подстенка. Где-то за белой, неприступной стеной мерцал Стеклянный Дворец. Где-то в своей повозке засыпала девушка с зелёными глазами, которая только что назвала меня своей скалой. А во мне, сыне рыбака, ковалось новое понимание. Моя сила была нужна не для того, чтобы поражать. Она была нужна, чтобы служить. Чтобы быть фундаментом для её полёта. И в этом служении, как ни парадоксально, я чувствовал себя свободнее и сильнее, чем когда-либо прежде.

Подготовка к фестивалю — это не тренировки. Это осада. Осада самого себя. Каждый день, с рассвета до глубокой ночи, Подстенок превращался в гигантский, шумящий тренировочный лагерь. Воздух звенел от струн, трещал от хлыстов, гудел от ударов по матам и всплесков воды в чанах, где тренировали дыхание ныряльщики.

Наш лагерь — островок сосредоточенной ярости среди этого хаоса. Бруно, несмотря на свою травму, стал моей тенью. Его зоркий глаз видел каждую огреху.

— Медленнее! — рычал он, когда я пытался рвать цепь с привычной яростью. — Они должны видеть напряжение! Видеть, как играет каждая жила! Это не работа, это демонстрация!

Он заставлял меня делать всё с невыносимой, мучительной медлительностью. Поднимать гирю не рывком, а плавно, как будто вытаскиваешь из воды нечто хрупкое и бесценное. И замирать в верхней точке. На три счёта. Пять. Пока мышцы не начинали кричать от боли, а дыхание не становилось свистом в ушах. «Сила в контроле, мальчик! — бубнил он. — Любой дурак может дернуть. Ты должен владеть».

В первый же день подготовки меня поймал Марцелло:

— Мы меняем номер. Теперь это не просто «Подвиги Геркулеса». Концепция такая: «Скала и Пламя». Ты — недвижимая скала, основа. А Алия… её танец будет тем самым пламенем, что пляшет на твоей непоколебимой силе. Я же вижу, что ты к ней неровно дышишь. Будете парой на арене, глядишь, что и сложится. — Марцелло подмигнул и с хитрой ухмылкой похлопал меня по плечу, уходя к повозке Алии.

Поэтому я теперь учился не просто стоять. Я учился быть основанием. Мы репетировали с ней. Сначала это были робкие, неловкие попытки. Она вставала мне на плечи, и я, напрягшись до дрожи, боялся пошевелиться, чтобы не уронить её. Но постепенно… появилась связь. Не физическая, а какая-то иная. Я начал чувствовать её центр тяжести сквозь подошвы её лёгких туфель. Чувствовать, как она готовится к прыжку, по едва уловимому смещению веса. Я учился быть не просто подставкой, а соучастником её полёта, предугадывая и компенсируя каждое её движение.

И она… она стала другим режиссёром. На репетициях её голос звучал тихо, но властно.

— Далин, когда я делаю пируэт на твоей ладони, твоя рука не должна быть просто плоской. Она должна быть… чашей. Которая не удерживает, а предлагает.

— Твоё дыхание, — говорила она, когда я, задержав её на вытянутых руках, замирал. — Оно должно быть ровным. Как сердцебиение земли. Если они увидят, что ты задыхаешься, они увидят усилие. А они должны видеть естественность. Как будто ты родился держать мир на руках.

А так как и трюки с гирями и цепями никто не отменял, я за день был выжат как лимон. Но в этой круговерти мне удалось улучшить кое-что в номере с цепями, основываясь на настрое

на «искру». Несмотря на то, что моё осознание того, что «искра» внутри, помогло мне шагнуть на новый уровень мастерства, я продолжал на каждой репетиции представлять живой огонь. Мне казалось, что это помогает, что гири становятся легче, цепи податливее. И в один день в номере с цепями случился прорыв.

Я привычно картинно натянул цепь, замер, показывая воображаемым зрителям свою мускулатуру, и в этот момент сконцентрировал ощущение огня на конкретном звене. И оно… порвалось. Звено, на которое я смотрел, будто покраснело и лопнуло. Цепь разлетелась на две половинки, но я был не готов и, не увернувшись, больно ударил себя по ноге. Бруно, конечно, отругал меня и за слишком короткую паузу, и за неловкость, но потом подошёл и сказал: «Парень, похоже, ты стал намного сильнее. Мне показалось, что эта цепь для тебя слишком тонка, но я-то знаю эти цепи!»

С тех пор я рвал цепь исключительно таким способом, сконцентрировав воображаемую силу огня в одном из звеньев.

По вечерам, когда тело ныло от перегрузок, а ум затуманивался бесконечными повторениями, я находил отдушину в другом. Я шёл смотреть на них. На конкурентов. Прятался в толпе зевак и наблюдал.

Вот труппа акробатов с Севера — они строили живые пирамиды с такой скоростью и точностью, будто это не люди, а детали часового механизма. Вот фокусник из далёких Восточных степей — он заставлял огонь принимать формы драконов и птиц, и они жили своей жизнью, почти отрываясь от его пальцев. Вот силач, настоящий гигант, который жонглировал не гирями, а целыми бочками с водой. У каждого — свой стиль, своя магия, своя искра.

И сначала это подавляло. Казалось, что мы, с нашим простым номером про скалу и пламя, — просто деревенщины рядом с этими виртуозами. Но потом я вспоминал слова Алии. «Будь собой». И я видел: у них нет того, что есть у нас. У них нет этой тишины перед бурей. У них всё — в движении, в виртуозности. А наша сила — в контрасте. В абсолютной, невозмутимой мощи и хрупкой, неистовой красоте, которая на этой мощи расцветает.

Всё было кончено. Последняя репетиция, и самая страшная — генеральная, под пристальными глазами Марцелло и приглашённого им старого арбитра из Гильдии, сухого, как щепка, старика с глазами-буравчиками. Мы откатали номер от и до. От первого моего выхода — тяжёлого, мерного, как шаги титана — до последнего аккорда, когда Алия, сделав немыслимое сальто с моих плеч, приземлялась мне на ладонь, поднятую над головой, и замирала, как бабочка на вершине скалы.

Старик что-то пробормотал Марцелло, кивнул и ушёл, не выразив ни одобрения, ни порицания. Но Марцелло, проводив его взглядом, обернулся к нам, и на его лице впервые за многие дни появилось нечто, отдалённо напоминающее удовлетворение.

— Не опозорьтесь, — вот и вся похвала. Но нам хватило.

Наступила та самая, звенящая пустота между боем и выстрелом. Сумерки спустились на Подстенок, окрасив белые стены столицы в лиловый и золотой. Лагерь затих. Даже вечно шумные соседи-акробаты приумолкли, поглощённые своими последними приготовлениями и страхами.

Я стоял у нашего фургона, разминая запястья, в которых всё ещё гудела усталость, и смотрел на зарево столицы. Оно манило и пугало. Завтра там, в амфитеатре Подстенка, начнётся всё.

И тогда я услышал её шаги. Лёгкие, неслышные для любого, кто не настроен на её частоту всем своим существом. Она подошла и остановилась рядом, плечом к моему плечу. Мы молча смотрели на огни.

— Боишься? — спросила она наконец, и её голос был тихим, почти шёпотом.

Я хотел соврать. Сказать «нет». Но с ней это было невозможно.

— Умираю от страха, — признался я, и слова вышли хриплыми. — Боюсь подвести. Боюсь ошибиться. Боюсь, что… что моя скала пошатнётся.

Она повернулась ко мне. В полумраке её лицо было бледным овалом, а глаза казались бездонными тёмными озёрами.

— Ты не шатнёшься, — сказала она с такой простой, несокрушимой уверенностью, что у меня на миг перехватило дыхание. — Я чувствую. Когда я на тебе… я чувствую не камень. Я чувствую волю. Твёрже любого камня.

И тогда что-то во мне сорвалось с цепи. Вся тоска, вся тревога, все месяцы безумного напряжения нашли выход в одном, слепом, необдуманном порыве. Я повернулся к ней, взял её за плечи — такие хрупкие под тонкой тканью — и потянул к себе, чтобы поцеловать. Чтобы найти в её губах ответ, успокоение, подтверждение всего, что кипело во мне.

Но она… она не потянулась навстречу. Она не отпрянула. Она просто осталась неподвижной в моих руках. И тихо, почти жалостливо, рассмеялась. Тот самый, лёгкий, серебряный смешок, который когда-то резал, как нож.

— Ох, Далин, — выдохнула она, и в её смехе не было насмешки. Была какая-то нежная, почти материнская снисходительность. — Не сейчас. Не накануне битвы. Это сбивает фокус.

Она высвободилась из моих рук одним плавным движением, поднялась на цыпочки и, прежде чем я опомнился, поцеловала меня в щеку. Её губы были мягкими и прохладными. Этот поцелуй длился меньше секунды, но он вжёгся в кожу, как клеймо.

— Всё своё, — прошептала она мне на ухо, и её дыхание было тёплым и пахло мёдом и полынью. — Всё своё внимание, всю свою силу, всю свою волю — завтра на арену. Для нашего номера. Для победы.

Она отступила на шаг, и её глаза в темноте сверкнули знакомым, твёрдым огнём.

— А потом… посмотрим. Спокойной ночи, моя скала. Спи. Тебе нужны силы. Чтобы держать мой мир.

И она ушла. Бесшумно растворилась в темноте, оставив меня одного с пылающей щекой и сердцем, разрывающимся на части от противоречивых чувств: горького укола отказа, сладкого жара её прикосновения и пронзительной, кристальной ясности её слов.

«Не сейчас». Эти слова повисли в воздухе, как приговор и как обет. Она была права. Всё, что не относилось к завтрашнему дню, было роскошью, предательством по отношению к делу, к нашему общему пути. Она мыслила, как полководец накануне решающей битвы. И в этой беспощадной целеустремлённости было что-то, что заставляло преклоняться и ненавидеть одновременно.

Я прижал ладонь к тому месту, где коснулись её губы. Оно всё ещё горело. Я закрыл глаза. Отвергнутый, сбитый с толку, но… ясный. Она указала направление. Завтра — арена. Всё остальное — после. Если будет «после». И эта мысль, жестокая и честная, навела на душу странное, ледяное спокойствие. Не было места сомнениям или томлению. Была только задача. И девушка, которая была и наградой, и самым строгим судьёй. Смех её ещё звенел в ушах, но теперь он звучал не как насмешка, а как бодрящий звонок. Сигнал к бою.

Глава 5. К равновесию через падение

«И падали мы, и падали мы с высоты, Но снова взлетали, не зная стыда».
Булат Окуджава

Ад — это не огонь. Ад — это тишина. Та самая, что наступила после.

Я всё помню.

Помню, как выходил на арену амфитеатра Подстенка. Она была не из белого камня, как столичная, но всё равно огромной. Тысячи глаз. Море лиц, сливающихся в одно пятнистое, дышащее полотно. Помню тяжесть в ногах, как будто я шёл не по песку, а по морскому дну, против течения. Помню первый рёв толпы, когда я разорвал цепь — он прокатился волной и ушёл, не задев меня. Я был внутри себя. Внутри ритма. Внутри ритуала.

И вот музыка для её выхода. Та самая, воздушная и трепетная. Она появилась наверху, на специальной платформе, как воплощённая мечта в струящихся зелёных тканях. И начался танец. Танец приближения. Каждый её прыжок, каждое вращение приближали её ко мне. Я стоял, как скала, как и должен был. Чувствовал, как толпа затаила дыхание.

Потом она была рядом. Легко, как пушинка, встала на моё плечо. Её ступня, крошечная и горячая даже через ткань, была точкой абсолютного сосредоточения всего моего мира. Я поднял руку. Она перешла на неё, встала на ладонь. И здесь… здесь что-то пошло не так. Не с ней. Со мной.

Вдруг, сквозь рокот крови в ушах, я услышал не музыку, а вой ветра с Долгой Тени. Услышал скрип отцовской «Договорницы» и почувствовал на ладонях не её лёгкий вес, а холодную, шершавую верёвку сети. Перед глазами поплыл не свет факелов, а бледное, испуганное лицо матери в предрассветных сумерках. Тоска. Дикая, всепоглощающая, о которой я забыл на время дороги, вломилась в меня, как шквал, вышибив весь фокус, всю концентрацию.

Я видел, как она готовится к главному прыжку — двойному сальто с моей ладони на другое плечо. Её мышцы собрались, дыхание выровнялось. И в этот миг моя рука… дрогнула. Не от слабости. От предательского, ничем не обусловленного прогиба где-то в самой глубине души. Я потерял ту самую «чашу», о которой она говорила. Моя ладонь стала просто ладонью — неустойчивой, человеческой, дрожащей.

Она оттолкнулась. Выполнила первый оборот в воздухе с той же грациозной яростью. Но точка опоры была уже не та. Траектория пошла вкось. Второй оборот был уже не контролируемым полётом, а падением. Она не упала. Она — артистка до кончиков пальцев — сгруппировалась, нашла точку и приземлилась на ноги, но не на моё плечо, а рядом со мной, на песок арены, с глухим, невероятно громким в наступившей вдруг тишине стуком.

Тишина.

Она длилась вечность. Ни аплодисментов. Ни выдохов. Ничего. Только шуршание её костюма, когда она выпрямилась, и моё собственное, гулкое биение сердца, готовое разорвать грудную клетку.

Я видел, как она стоит, чуть склонив голову, её спина была обращена ко мне. Видел, как поднимаются плечи от глубокого, сдерживаемого вдоха. Потом она обернулась. Её лицо было маской из белого грима и румян. Но глаза… глаза были пустыми. Ни ярости, ни упрёка, ни разочарования. Пустота, страшнее любой бури. Она смотрела на меня не как на партнёра, подведшего её. Она смотрела как на посторонний предмет. На камень, который внезапно ожил и предал.

Она сделала реверанс в сторону трибун. Механический, бесстрастный. Потом развернулась и пошла прочь. Не побежала. Пошла. С прямой спиной и высоко поднятой головой, но каждый шаг отдавался во мне ударом молота.

И только тогда толпа взорвалась. Не аплодисментами. Гомоном. Удивлением, разочарованием, едкими комментариями, которые долетали до меня обрывками: «…сорвалось!», «…силач-то подвёл…», «…стыд и срам…».

Я стоял. Один. Посреди огромной арены, под тысячью осуждающих взглядов. Прах, пыль и позор. Вся моя закалённая воля, всё моё «быть скалой» рассыпалось в один миг под натиском старой, невыплаканной тоски. Я не уронил её физически. Я уронил её доверие. И её мечту. И свой шанс. Всё, к чему я шёл все эти месяцы, рухнуло из-за одного мига слабости, из-за одного призрака прошлого, который я так и не смог оставить за белой стеной.

Я не помню, как ушёл с арены. Помню только спину Марцелло — я проскользнул мимо него так, что он даже не заметил и не обернулся. Помню бледное, сострадательное лицо Зары и сочувственные взгляды остальных. Помню, как зашёл в свой фургон, сел на голые доски и уставился в стену, чувствуя, как во мне медленно, необратимо гаснет последний огонёк. Не от злости. От стыда. Такого всепоглощающего, что хотелось исчезнуть, раствориться, вернуться в холодные объятия Некромода, который, наверное, сейчас смеялся в своей бездне над сыном, возомнившим себя частью огня.

А за стеной фургона гудел фестиваль. Продолжалась жизнь. Танцевало другое пламя. А наше — наше погасло, даже толком не разгоревшись. И виной тому был я. Скала, которая оказалась не скалой, а песчинкой, унесённой первым же порывом воспоминаний.

Я бежал. Не думая, куда. Прочь от огней, от гула, от запаха толпы и горящего масла в факелах. Ноги сами понесли меня вниз, к тому самому низкому месту, где всегда течёт вода. Даже здесь, у подножия столицы, нашлась река — неширокая, тёмная, пахнущая не морем, а тиной и мокрыми камнями.

Я скинул свой дурацкий, пропитанный холодным потом костюм и остался в портах, босой. Камни на берегу впивались в подошвы, но эта боль была ничто. Я дошёл до самой кромки, где вода лизала берег, и рухнул на колени. А потом — просто сидел. Сгорбившись, уставившись в чёрное, беззвёздное отражение неба в воде.

И начался суд. Без адвоката. Без свидетелей. Только я и обвинитель — мой собственный разум, беспощадный и точный, как отцовский нож для потрошения рыбы.

Предатель. Ты предал Бруно, который передал тебе свою эстафету со сломанной рукой. Он верил, что ты пронесёшь его силу дальше. А ты уронил её в грязь.

Трус. Ты испугался. Не высоты, не веса. Ты испугался собственного прошлого. Позволил ему влезть в голову в самый ответственный миг. Настоящий силач гонит таких призраков прочь. А ты — слабак. Слабак, который носит маску силача.

Разрушитель. Ты разрушил не просто номер. Ты разрушил её момент. Её шанс блеснуть перед смотрящими из столицы. Её мечту о Стеклянном Дворце. Ты был её скалой, а превратился в зыбучий песок под ногами в самый ответственный момент её полёта. Ты украл у неё аплодисменты, признание, будущее.

Мысли кружились, как осенние листья в воронке, сбиваясь в одну жгучую, невыносимую истину: всё кончено.

Кончена карьера в цирке. Кто возьмёт силача, который не может удержать партнёршу? Марцелло вышвырнет меня, как выкидывают треснувший горшок. И будет прав.

Кончена дорога. Не будет больше этих переходов, этих костров, этой надежды впереди. Всё, к чему я шёл, упёрлось в стену моего же провала.

Кончена… она. Та недолгая, хрупкая теплота, что появилась в её взгляде, тот поцелуй в щёку, который горел до сих пор… всё это превратилось в пепел. В ту пустоту, что была в её глазах на арене. Я видел. Она не простит. Она не должна прощать. Её мир — это точность, дисциплина, безупречность. А я внёс в него человеческую, жалкую, непростительную ошибку.

Я схватил с земли камень — гладкий, холодный — и швырнул его в воду. Всплеск был жалким, одиноким. Река даже не заметила. Она текла себе дальше, спокойная и равнодушная. Как и весь этот огромный, сияющий мир за стеной. Ему было всё равно на моё отчаяние.

«Возвращайся», — шептал какой-то внутренний голос, слабый и жалкий. Куда? В Приливной Камень? Приползти к порогу отчего дома, оборванным, опозоренным неудачником? Увидеть разочарование в глазах Киприана? Стыд в глазах Иволии? Стать посмешищем для мальчишек, которые и так меня боялись? Нет. Эта дверь захлопнулась за мной навсегда в ту ночь, когда я ушёл.

Я был нигде. Человек без места. Силач без силы. Влюблённый без права на любовь.

Я опустил лицо в ладони. Дышал тяжело, порывисто. Слёз не было. Была только сухая, выжигающая всё внутри пустота. Я думал, что ад — это тишина после падения. Нет. Ад — это вот это. Сидеть в полном одиночестве на холодном берегу чужой реки и понимать, что ты сам себя изгнал из всех миров. Что ты сжёг все мосты. И остался один с самым ненавистным существом на свете — с самим собой. С тем, кто не смог. Кто подвёл. Кто оказался песчинкой.

Ночь тянулась бесконечно. Где-то в Подстенке, наверное, уже награждали победителей первого дня. Где-то Алия… я даже не мог думать о том, что с ней сейчас. Мысли обжигали, как раскалённое железо.

Я просто сидел. И смотрел, как чёрная вода уносит в никуда осколки моей разбитой жизни, моей глупой, детской мечты о дали и высоте. И понимал, что единственное, что мне осталось — это эта река. И тёмная, безразличная глубина, которая примет любого, кто больше не в силах держать на плечах тяжесть своего провала.

Они кричали. Звали. Их факелы метались по откосу, как огненные светляки, попавшие в банку. Я видел их — силуэты Зары, Ренальдо, даже квадратную тушу Бруно, который орал моё имя хрипло, срываясь на кашель. Голос Марцелло резал ночь, как нож: «Бросьте этого идиота! Его уже волки утащили!»

Я сидел под корягой, вросшей в берег точно в пещеру, и смотрел сквозь чащу на этот сумасшедший танец огней. Каждый крик был ударом по открытой ране. Мне казалось, они искали не Далина. Они искали потерю. Вещь, которую нужно вернуть в лагерь, чтобы не было позора перед соседями. Или чтобы не платить за пропавшего? Неважно. Я вжался в землю, в сырость, в запах гниющих водорослей. Пусть идут. Пусть решат, что я сгинул. Так и будет проще.

Их голоса стали удаляться. Факелы поплыли назад, к огням Подстенка. Чьи-то плечи пожались — видно было по силуэту. Бросили. В груди что-то осело, тяжёлое и окончательное. Ну вот. Отрезали. Как отрезают гнилую верёвку, чтобы она не порвала всю сеть.

Тишина вернулась. Густая, полная, как вода в колодце Спарки. Я уже приготовился раствориться в ней, стать частью этой ночной сырости, когда...

— Далин!

Один голос. Чистый, как звон разбитого стекла. Он не кричал. Он звучал, наполняя собой всё пространство от реки до неба. Это был не зов. Это была мольба. В нём дрожала тончайшая, ледяная паутина страха.

Я приподнял голову. Она стояла на самом краю обрыва, одна, без факела. Луна выхватила её из тьмы: бледное лицо, растрёпанные ветром волосы, светлое платье, теперь грязное у подола. Она не смотрела в мою сторону. Она смотрела на воду. На чёрную, медленную ленту реки.

— Далин, пожалуйста! — её голос сорвался на высокую, почти детскую ноту. — Если ты там... если ты слушаешь... выйди. Выйди сейчас же!

Она замолчала, и в тишине я услышал прерывистый, сдавленный звук. Плач. Она плакала. Не рыдая, а тихо, отчаянно, вытирая лицо тыльной стороной ладони.

— Я думала... я думала, ты сильный, — прошептала она так тихо, что я едва расслышал, но каждое слово вонзилось в меня, как шип. — Я думала, ты как скала. А скалы... скалы не бегут. И не... не делают таких глупостей. Пожалуйста...

Она снова закричала, и в этом крике уже не было воли. Была паника. Животный, неконтролируемый ужас:

— Я не хочу, чтобы твой холодный труп вылавливали из воды! Я не хочу! Выйди! Просто выйди и посмотри на меня!

И тут я понял. Они не думали, что я сбежал. Они думали, что я... утопился. От стыда. От горя. Алия, с её железной дисциплиной и холодным расчётом, стояла там одна в ночи и боялась найти моё тело. Эта мысль была настолько чудовищной, настолько невероятной, что вышибла из меня всё: и стыд, и жалость к себе, и желание исчезнуть.

Я вылез из-под коряги. Камни заскрипели под ногами. Я вышел на лунную дорожку у самой воды и, хрипло, не своим голосом, окликнул:

— Алия. Я здесь.

Она вздрогнула, как от удара. Резко обернулась. Глаза её, огромные и блестящие от слёз, впились в меня сквозь сумрак. На её лице застыло выражение чистого, немого шока. Потом оно дрогнуло. Исказилось. И она, не сказав ни слова, сорвалась с места.

Она не шла. Она бежала вниз по склону, не обращая внимания на камни и корни, спотыкаясь, упала на колени, поднялась и, не обратив на это внимания, снова побежала. Увидев её падение, я сделал быстрый шаг навстречу, и она врезалась в меня с такой силой, что я едва устоял. Её руки обвили мою шею, вцепились в волосы, в ткань рубахи. Она прижалась ко мне всем телом, и я чувствовал, как она трясётся. Не от холода. От сдерживаемых рыданий.

— Дурак! Идиот! Глупый, тупой, деревенский дурак! — она выкрикивала эти слова мне в грудь, и каждый удар её кулака по плечу был слабым, беспомощным. — Я думала... я думала ты... как ты мог... как ты посмел так меня напугать?!

Потом она отстранилась, на мгновение, только чтобы вглядеться в моё лицо, будто проверяя, что я настоящий. И в её глазах, полных слёз и лунного света, было столько ярости, облегчения и чего-то ещё, безымянного и жгучего, что у меня перехватило дыхание.

И она поцеловала меня.

Не в щёку. Не осторожно. Она притянула моё лицо к своему и поцеловала в губы. Жёстко, властно, отчаянно. В этом поцелуе был гнев за пережитый страх, и солёный вкус её слёз, и что-то дикое, первобытное, что не имело ничего общего с ареной, фестивалем или богинями. Это был поцелуй жизни, вцепившейся в жизнь. Поцелуй человека, который только что стоял на краю пропасти потери и вдруг обрёл то, что считал уже навсегда утраченным.

Когда мы наконец разъединились, она всё ещё держала меня за лицо, её большие пальцы стирали грязь с моих щёк.

— Никогда, — прошептала она, и её голос снова стал твёрдым, но теперь в нём вибрировала не сталь, а что-то тёплое и живое. — Никогда больше не убегай так. Ты слышишь? Если падаешь — вставай. Если ошибаешься — исправляй. Но не прячься. И не... не пугай меня так.

Она обняла меня снова, уже не так отчаянно, а крепко, надёжно, прижав ухо к моей груди, будто слушая стук моего сердца. Мы нашли плоский, отполированный водой камень у самой кромки и сели. Она прижалась ко мне боком, забравшись под плащ и обняв мою промокшую руку, и мы молча смотрели на реку, уносящую последние отблески луны.

Тишина была уже не враждебной. Она была нашей. Тяжёлой, но честной. Первой заговорила она.

— Ты мне понравился сразу, — сказала она так просто, будто сообщала о погоде. Я вздрогнул. — Когда я вышла на ту площадь в вашей деревне и увидела тебя в толпе. Ты стоял,

как столб, и смотрел не на меня, а сквозь меня. Как будто видел не танцовщицу, а... не знаю. Призрак. Или обещание. В твоих глазах была такая тоска, такая дикая, неукротимая жажда, что мне стало... страшно. И интересно.

Она помолчала, и я чувствовал, как под плащом её пальцы переплелись с моими.

— Но когда ты подошёл потом, с этими своими признаниями... я рассмеялась не над тобой. Над ситуацией. Ты предлагал мне остаться. В этой каменной щели, у чёрной воды, с твоим демоном глубин. Что бы я там делала, Далин? Плела сети? Ждала тебя с уловом? Моя жизнь — движение. Музыка. Высота. Я не могу без этого. Так же, как ты не смог бы жить без горизонта.

Она повернула ко мне лицо. В сером свете луны её черты были удивительно мягкими.

— А потом... когда ты ушёл с нами... мне захотелось посмотреть. Насколько хватит твоего «люблю». Легко сказать это у ручья. А вот таскать фургоны по пустыне, рвать руки в кровь, терпеть насмешки и холодные взгляды... это уже другая история. Мне нравилось видеть, как ты стараешься. Как из грубого камня по капле откалываешь что-то... гладкое. Сильное. Своё. Ты добивался. И это было... важно.

Она глубоко вздохнула.

— И этот фестиваль... эта победа... Да, я хотела попасть во дворец! Мечтала! Но сегодня, когда ты исчез, и я подумала самое страшное... я поняла. Это всего лишь мечта. Прекрасная, далёкая, как та стена. А жизнь... жизнь вот она. — Она сжала мою руку. — Она в том, чтобы рядом был человек, который, даже упав, найдёт в себе силы не сбежать в воду, а выйти на зов. Который нужен тебе не за победы.

Она замолчала, и в её глазах стояли слёзы, но теперь они не были от страха.

— Посмотри на Бруно. Он никогда не побеждал на фестивалях. Но он — легенда в нашем кругу. У него ученики по всему материку. На Марцелло показывают пальцем — мол, у него глаз на таланты. Победа... она не главное. Главное — путь. И то, с кем ты его прошёл.

Она привстала, повернулась ко мне, взяла моё лицо в ладони. Её глаза были серьёзными и невероятно тёплыми.

— Мы с тобой не победим на этом фестивале. Наш номер провален. И даже если бы не провален... сейчас это не важно. Важно то, что я сейчас скажу.

Она сделала паузу, будто набираясь смелости для самого главного.

— Я хочу быть с тобой, Далин. Не как приз за победу. Не как награда за достижение. Просто так. В этом цирке. На этой дороге. В этой жизни. Ты — моя скала. Даже если она иногда пошатывается. А я... я буду твоим огнём. Который не сожжёт, а согреет. Договорились?

Она смотрела на меня, и в её взгляде не было ни вызова, ни испытания. Было предложение. Честное и пугающее. Не заслужить. Разделить.

У меня перехватило горло. Все слова, все клятвы, что я готовил, оказались ненужными. Я просто кивнул. Не мог вымолвить ни звука. Потом обнял её, прижал к себе, чувствуя, как её тело полностью расслабляется, отдаётся этой близости.

Мы сидели так, пока небо на востоке не начало светлеть. Не было страсти отчаяния, как в том первом поцелуе. Было тихое понимание. Мы потеряли шанс на дворец. Но мы нашли нечто большее. Мы нашли друг друга не как цель, а как попутчика. И в этом была странная, горько-сладкая свобода. Теперь не нужно было никому ничего доказывать. Нужно было просто идти. Вместе.

Рассвет растапливал ночь медленно, как масло на тёплой сковороде. Река из чёрной стала свинцовой, потом серебристой. Мы сидели, обнявшись, её голова на моём плече, и тишина между нами была уже не пустой, а наполненной — всем, что мы боялись сказать раньше. Она заговорила первой, голос её был ровным, без дрожи, как будто она рассказывала не свою историю, а старую, почти забытую сказку.

— Я родилась там, — она кивнула в сторону, где за стеной должна была быть столица. — Не в трущобах. На Алебастровой улице. Каменный дом с решётками на окнах и садом, где росли лимонные деревья в кадках.

Я не мог представить. Лимонные деревья. В кадках.

— Отец был мелким дворянином на службе у министра торговли. Мать... мама играла на арфе и вышивала птиц шелками. У меня были платья с кружевами и кукла из фарфора с настоящими ресницами.

Она говорила, глядя на воду, и в её глазах отражалось не прошлое, а что-то далёкое и хрупкое.

— А потом пришла беда. Не стало ни отца, ни матери. Дядя, которому перешло опекунство, сдал меня в «Приют Серебряного Колодца». Для благородных сирот. — Она произнесла это название с такой ледяной горечью, что мне стало холодно. — Там были мраморные полы, молитвы Спарке три раза в день и... правила. Тысячи правил. Как сидеть, как ходить, как молчать. Моё тело, которое рвалось двигаться, танцевать даже во сне, стало клеткой. А душа... душа начала гаснуть.

Она замолчала, и я чувствовал, как её плечо слегка вздрогнуло.

— Мне было семь. Я сбежала через окно в уборной. У меня не было плана. Я просто бежала. Очутилась на Празднике Урожая, на окраине. И увидела их. Цирк «Пламенные Бродяги». Они жонглировали, ходили по канату, и их огонь был живым, весёлым, не тем, что в каменных колодцах. Я подошла к Марцелло — он был моложе, но уже с тем же хищным взглядом — и сказала: «Возьмите меня. Я научусь летать».

Она усмехнулась, сухим, коротким звуком.

— Он засмеялся. Но старая гадалка труппы, Флора, взяла меня за подбородок, посмотрела в глаза и сказала: «В ней живёт ветер. Он вырвется наружу, с нами или без». Так я осталась. Сначала мыла котлы, потом училась. Падала. Ломала руки. Но я летала. По-настоящему. И с каждым годом эта мечта — вернуться туда, в столицу, но уже не бесправной сиротой, а звездой, перед которой рукоплещут те самые вельможи, что проходили мимо приюта, даже не глядя на решётки... она росла во мне. Я хотела танцевать в Стеклянном Дворце не для Спарки. Я хотела танцевать для них. Чтобы они увидели, кем стала та девочка из приюта. Чтобы мой танец был моим молчаливым криком: «Я выжила. И я — прекрасна».

Она выдохнула, и этот выдох будто вынес из неё последнюю тяжесть.

— А потом мы приехали в твою деревню. И я увидела тебя. И в твоих глазах была та же тоска по другой жизни. Только твоя тоска была тихой, как море в штиль. А моя — яростной, как пожар. И когда ты пошёл за мной... я подумала: «Вот он. Мой шанс не только взять, но и дать. Научить кого-то летать. Или хотя бы... быть землёй под крыльями».

Она обернулась ко мне, и её глаза были чистыми, без намёка на слёзы.

— Теперь ты знаешь всю правду. Я не богиня. Не недосягаемая мечта. Я — беглая сирота, которая слишком сильно хотела доказать всему миру, что она чего-то стоит. И сегодня... сегодня я поняла, что уже доказала. Себе. Когда выбрала спуститься в эту тьму за тобой, а не остаться там, наверху, биться за призрачный шанс удивить вельмож. Это и есть моя победа.

Она умолкла, дав мне время впитать её слова. Эта история была как удар — она объясняла всё. Её железную волю, её насмешки, её страх привязанности и её безумную, отчаянную храбрость.

А потом она спросила:

— А теперь ты. Вся правда. Не про море и сети. Про то, что болит внутри. Про что ты думал, когда уронил меня?

И я рассказал. Всё. Не сдерживаясь. Про тоску, что вломилась в меня на арене, как прилив. Про лицо матери в окне. Про чувство, что я предал всех и вся. Про желание исчезнуть. Говорил косноязычно, сбивчиво, рыбацкими простыми словами. Но она слушала. Не переби-

вая. Её рука лежала на моей, и её пальцы время от времени сжимались, когда мои слова касались особенно тёмных мест.

Когда я закончил, наступила тишина. Но уже совсем другая. Теперь мы знали самые потаённые, самые уязвимые места друг в друге. И это знание не отдаляло. Оно соединяло. Как две половинки разбитого глиняного горшка, которые, будучи склеенными, становятся крепче целого.

Рассвет окончательно победил. Птицы запели в прибрежных кустах. Она поднялась, потянулась, и в её движении была новая, спокойная грация.

— Ну что, силач, — сказала она, протягивая мне руку. — Пора возвращаться.

Мы шли обратно рука об руку, и дорога, которая ночью казалась тропой в преисподнюю, теперь была просто дорогой. Под ногами хрустел гравий, в воздухе пахло дымом и свежей выпечкой из проснувшегося Подстенка. Я боялся этого возвращения. Боялся взглядов, упрёков, ледяного молчания.

Но то, что мы увидели, подойдя к нашему лагерю, заставило сердце ёкнуть и забиться по-новому.

Лагерь не спал. Более того — он кипел. Фонари горели ярче обычного. Марцелло, в расстёгнутом камзоле и с растрёпанными волосами, что было для него немыслимо, орал на кого-то из местных проводников, тыча пальцем в карту. Бруно, со своей перевязанной рукой, метался между фургонами, отдавая какие-то резкие приказы мальчишке-конюху. Зара и Ренальдо быстро натягивали плащи, а старый Беппо, уже в полном клоунском гриме, но с серьёзным лицом, проверял уздечки у впряжённых в телегу лошадей. Они собирали поисковый отряд. Для меня.

Мы замерли на краю света от фонарей. Первым нас заметил карлик Фрик, сидевший на бочке. Он вскрикнул, тонко и пронзительно, как испуганная птица, и указал на нас дрожащим пальцем.

Всё остановилось. Все головы повернулись в нашу сторону. Наступила та самая, знакомая тишина, но теперь в ней не было осуждения. Было недоумение, переходящее в шок, а потом — в волну чистого, немого облегчения.

Первым пришёл в себя Марцелло. Он отшвырнул карту, сделал два быстрых шага вперёд, и его острый взгляд скользнул с моего грязного лица на сплетённые с Алией пальцы, на её спокойную, хоть и усталую улыбку. Что-то щёлкнуло в его проницательном уме. Он не улыбнулся. Но резкое напряжение с его плеч ушло. Он просто выдохнул, шумно, и провёл рукой по лицу.

— Чтоб вас... — начал он, но не закончил. Потом рявкнул на всех: — Разойдись! Представление отменяется! Лошадей распрячь! И налейте этим двум идиотам чего-нибудь горячего, пока они совсем не превратились в сосульки!

И тут на нас накатила волна. Не гнева, а чего-то шумного, тёплого и немножко дурацкого. Зара первой подбежала и, не смущаясь, крепко обняла нас обоих сразу.

— Думала, вас волки! — выдохнула она мне в плечо, и её голос дрожал.

Ренальдо хлопал меня по спине так, что я закашлялся, бормоча что-то радостное на своём певучем языке.

Фрик и другой карлик, Фрак, запрыгали вокруг, тараща глаза и щебеча: «Живой! Целый! И она с ним!»

Даже суровый конюх Герг кивнул мне, и в его глазах мелькнуло одобрение.

А потом подошёл Бруно. Он остановился передо мной, его здоровенная тень накрыла нас с Алией. Его лицо было непроницаемой маской. Он смотрел на меня долго и пристально. Потом поднял здоровую, могучую лапу и… нежно, но с отцовской суровостью, ткнул меня кулаком в плечо. Удар был таким, что я откатился на полшага.

— В следующий раз, — произнёс он хрипло, — будешь смываться — предупреждай. А то у старика сердце не железное. Понял, дубина?

И в его глазах, обычно таких холодных, я увидел не упрёк. Я увидел заботу. И стыд за свою слабость нахлынул с новой силой, но теперь он был смешан с чем-то тёплым и щемящим — благодарностью.

Кто-то сунул мне в руки глиняную кружку с обжигающим, пряным глинтвейном. Алии накинули на плечи плед. Нас усадили к самому костру, который разгорался всё жарче, будто празднуя наше возвращение.

И начался странный, волшебный вечер. Никто не говорил о провале. Никто не вспоминал падение. Вместо этого Беппо, уже без грима, с блестящими глазами, начал передразнивать мой выход — он вышагивал, надув щёки и изображая невероятную важность, и все хохотали до слёз. Ренальдо стал рассказывать, как я впервые порвал цепь на их глазах, и в его рассказе это было подвигом Геракла. Зара вспоминала, как Алия учила меня «чувствовать огонь», и как я чуть не поджог себе брови.

И самое удивительное — все тут же, без слов, приняли нас как пару. Когда Алия, смеясь над шуткой, прижалась ко мне, никто не удивился. Напротив, Марцелло, попивая своё вино, мрачно заметил: «Наконец-то. А то эти вздохи и взгляды уже всех достали». И все снова засмеялись.

Я сидел, прижимая к себе кружку, смотрел на эти лица, освещённые огнём, слушал этот смех и понимал, что ошибался. Это и был мой дом. Не каменные стены у моря, а этот круг света в ночи, эти люди со своими странностями, травмами и преданностью. Они не простили мне ошибку — они её не заметили. Потому что для них я был не артистом, сорвавшим номер. Я был своим. Который потерялся и нашёлся.

Алия сидела рядом, её рука лежала на моём колене, и она улыбалась той самой, спокойной улыбкой, которую я видел у реки. Мы потеряли фестиваль. Потеряли мечту о дворце. Но мы нашли нечто, что не купить ни за какие победы: своё место. И друг друга. И в этой тёплой, шумной, безумной семье под открытым небом я впервые за долгое время почувствовал, что я — не Далин-беглец. Я — просто Далин. И этого было более чем достаточно.

Интерлюдия. Спарка

В сердце столицы, где воздух казался сплетённым из тончайшей золотой пыли и аромата вечно цветущего олеандра, находились Личные Покои. Здесь не было стен в привычном понимании. Их заменяли струящиеся водопады шёлка цвета молодой листвы и дыма, закреплённые на серебряных каркасах. Пол был выложен чёрным обсидианом, отполированным до зеркального блеска, в котором отражались языки живого пламени, танцующие в высоких бронзовых чашах без дыма и копоти.

На низком ложе из слоновой кости, устланном шкурой снежного барса, полулежала Спарка. Она не походила на изваяние божества. Она была живой, слишком живой, и от этого — ещё более пугающей. Её волосы, почти белые с прожилками зелёного, были распущены и струились по плечам, словно отдельная стихия. Одеяние её — изумрудно-зелёное, сотканное из паутины шёлка и теней — переливалось при каждом движении, будто крыло гигантского жука. На запястьях, шее, вплетённые в волосы мерцали изумруды, но их холодный блеск мерк перед её глазами. Это были глаза зелёного пламени. Не цвета, а самой сути: в них стоял вечный, бездонный, холодный огонь, в котором, казалось, сгорали все тайны мира.

Она не читала, не музицировала. Она просто смотрела на одно из пламеней в чаше, и огонь под её взглядом то замирал, вытягиваясь в тонкую, неподвижную иглу, то вспыхивал снопом искр. Это был её способ думать.

Тишину, нарушаемую лишь тихим потрескиванием огня, разрезал едва уловимый шорох. Не звук шага, а скорее звук тени, скользящей по стене. Из-за водопада тёмного шёлка вышел человек, закутанный в плащ из чёрного, матового полотна, поглощавшего свет. Капюшон был накинут, но в его глубине не было лица — лишь мрак и слабый отсвет от огненных чаш, падающий на металлическую маску с прорезью для глаз. Это был Соглядатай Ордена Огня. Вечный слуга. Тень богини.

Он склонился в почтительном, но не рабском поклоне. Он не падал ниц. Они служили не из страха, а из фанатичной веры в её сущность.

Спарка не обернулась. Её взгляд оставался прикован к пламени.

— Говори, — её голос был низким, мелодичным, но в нём чувствовалась сталь, охлаждённая в глубинах земли.

— Светлейшая, — голос из-под маски звучал сухо, без эмоций, как скрип пергамента. — На фестивале в Подстенке. Среди прочей пыли и мишуры было нечто... достойное внимания.

Она слегка повернула голову, и зелёные глаза скользнули по фигуре слуги. Этого было достаточно, чтобы он продолжил.

— Силач. Из бродячей труппы «Пламенные Бродяги». Дикарь с какого-то дальнего берега. Номер его примитивен: гири, цепи. Но во время отборочного выступления... когда он рвал последнее звено... я видел.

Соглядатай сделал паузу, собираясь с мыслями, подбирая точные слова.

— В момент наивысшего напряжения, когда металл уже готов был сдаться... не вокруг его рук. Внутри разрывающегося звена. На миг — меньше чем миг — вспыхнуло пламя. Не от трения. Не иллюзия. Чистый, рождённый из ничего, огонь твоего цвета, Владычица. Он погас, едва возникнув. Никто, кроме обученного взгляда, не мог этого заметить. Но это было.

Тишина повисла густая, как смола. Пламя в чаше, на которую смотрела Спарка, вдруг сжалось в маленький, ослепительно яркий шар, а потом выбросило длинный, шипящий язык прямо к потолку.

— Управлял? — спросила она, и в её голосе впервые прозвучал интерес. Холодный, как ледник, но интерес.

— Нет, — быстро ответил слуга. — Он даже не подозревал. Это было... непроизвольно. Как вспышка молнии в грозовой туче. Сила в нём есть. Дикая, неотёсанная, спящая. Но она откликается. На ярость. На отчаяние. На предельное напряжение воли. Он — как кремень. Ударишь с нужной силой — и родится искра. Твоя искра.

Спарка медленно поднялась с ложа. Её движение было подобно разливу ртути — плавное и неотвратимое. Она подошла к чаше, протянула руку прямо в середину пламени. Огонь ласкал её пальцы, обвивал запястье, как ручной змей, не причиняя вреда.

— Имя? — спросила она, глядя на танцующее на её ладони пламя.

— Далин, Владычица.

— Происхождение?

— Рыбачья деревня на Краю Света. Поклоняются демону глубин. Некромоду.

На её идеальных, бесстрастных губах дрогнул уголок. Не улыбка. Скорее, гримаса лёгкого презрения, смешанного с любопытством.

— Сын бездны, рождающий огонь... Ирония. Где он сейчас?

— В лагере своей труппы. После провала. Но... с ним девушка-танцовщица из той же труппы. Алия. Кажется, между ними связь.

— Связь, — повторила Спарка безразлично, как будто речь шла о привязанности двух букашек. Она сжала ладонь, и пламя в чаше погасло, оставив лишь тёплый воздух и лёгкий запах озона. Внезапная темнота в углу комнаты казалась ещё гуще.

— Всю информацию, — её голос упал до полушёпота, но каждое слово обрело вес свинцовой печати. — Не только клочки слухов с фестивальной площади. Я хочу знать всё. Откуда эта труппа. Кто ею правит. Кто в ней состоит. Какие у них были победы, поражения, скандалы. С кем они сводили счёты и кто им должен. Их маршруты за последние пять лет. Их долги. Их болезни. Их страхи.

Она сделала микроскопическую паузу, и в этой паузе повисла тяжесть невысказанного приказа: Сломай архивы Гильдии. Подкупи или устрани писцов. Вырви язык у их бывших покровителей. Мне всё равно, как. Добудь.

— Особенно, — зелёные глаза Спарки сузились, и пламя в ближайшей чаше на мгновение погасло, будто сжавшись от холода её взгляда, — девушка. Алия. Кровь. Происхождение. Где родилась, кто были родители, как попала в цирк. Все её травмы, все её любовники, все её мечты и все её тайны. Каждый шаг, который привёл её к этому... силачу.

Она произнесла последнее слово с лёгкой, почти неуловимой интонацией. Не презрения. Собственности. Как будто Далин уже был вещью, на которую кто-то посмел предъявить права.

— Меня интересуют их связи, — продолжала она, и её пальцы резко остановились, впившись в ткань. — Не только между телами. Что их держит вместе? Страх? Расчёт? Или что-то... более глупое? Выясни.

Соглядатай не шелохнулся, но в его неподвижности чувствовалась полная готовность.

— И что с ними делать, Владычица, когда информация будет получена?

Спарка медленно откинулась на подушки, и её лицо снова стало маской безразличия, но глаза горели холодным, аналитическим огнём.

— Пока — ничего. Держи их под невидимым стеклом. Пусть живут своей жалкой, бродячей жизнью. Пусть думают, что они свободны. Но я хочу знать о каждом их шаге. О каждой ссоре. О каждой радости. Особенно, — она снова подчеркнула это слово, — если между ними что-то пойдёт не так. Если в их связи появится трещина.

Она подняла руку, и погасшее пламя в чаше вспыхнуло снова, но теперь оно было не золотым, а ядовито-зелёным, точь-в-точь как её глаза. Она повернула ладонь, и зелёное пламя перетекло на её пальцы, заиграв там миниатюрными, смертоносными молниями.

— Ступай. И помни: для меня они уже не люди. Они — факторы. Переменные в уравнении. Собери все данные. Я буду ждать.

Соглядатай склонился в последний раз и растворился в тенях, словно его и не было. Приказ был отдан. Невидимая, идеально отлаженная машина слухов, шпионажа и архивов Ордена Огня пришла в движение. Скоро на стол Спарки лягут не просто донесения, а полные досье. На «Пламенных Бродяг». На Марцелло. На каждого артиста. И самое подробное — на Алию. Каждая слеза, каждый смех, каждый тайный страх этой девушки будет вытащен на свет, препарирован и оценён холодным, зелёным взглядом богини, которая вдруг обнаружила в своей империи диковинный и потенциально полезный сырой материал.

А пока что в Подстенке, у своего костра, Далин и Алия, обнявшись, смеялись над шутками Беппо, не подозревая, что их скромное, только что рождённое счастье уже попало в поле зрения существа, для которого любовь была лишь интересным химическим процессом, а души — глиной для лепки. Игра начиналась. И ставки в ней были неизмеримо выше, чем приз в Стеклянном Дворце.

Конец первой части

Ч

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.